

〈№ 3. — Март 1859 года.〉

Миролюбивые манифестации во Франции. — Выговор газете *Presse*. — Оппозиция в законодательном корпусе, при дворе и в сенате. — Письмо к Геду, статья «Монитёра» и отставка принца Наполеона. — Посольство лорда Коули. — Общественное мнение во Франции и итальянские фанатики. — Проекты перемен в нынешней французской системе. — Положение итальянского вопроса около 3 (15) марта. — Компьеньские уверения Пальмерстона. — Парламентская реформа в Англии. — Министерский билль. — Д'Израэли как прогрессист. — Россель снова становится главою оппозиции. — Прибытие неаполитанских пленников в Англию — Можно ли назвать их страдавшими не по собственной их вине?

В прошедший раз миролюбивые манифестации французского правительства приходилось нам перечислять в параллель с его объявлениями и официальными актами, имевшими воинственное направление; каждому действию его в одном виде соответствовало, почти в тот же день, какое-нибудь действие, имеющее противоположный вид; и мы заканчивали очерк только тем неопределенным выражением, что в пять или шесть последних дней, входивших в наш обзор, именно во вторую неделю февраля (по новому стилю), миролюбивые манифестации, повидимому, взяли верх над воинственными: но нельзя еще решить, прочен ли такой оборот в наружных действиях французского правительства, а можно только находить, что некоторая продолжительность манифестаций в этом смысле довольно правдоподобна. Такое предположение европейских газет оправдалось. До того числа, известия о котором мы имеем при составлении нынешнего обзора (15 марта нового стиля), все наружные действия и объявления французского правительства были благоприятны сохранению европейской тишины. Целый месяц миролюбивых уверений и наружных действий в том же смысле, — чего же ты хочешь больше, Западная Европа? Ты слишком требовательна и недоверчива, если тебе мало стольких официальных ручательств за ненарушимость твоего спокойствия.

После неопределительно миролюбивой речи французского императора при открытии заседаний законодательных властей

(7 февраля) и решительно миролюбивой речи графа Морни, президента законодательного корпуса, в первом заседании этого собрания (8 февраля) первую довольно яркую манифестацию в пользу мира был выговор, данный министром внутренних дел газете *Presse* за одну из воинственных статей, которые до той поры ежедневно появлялись в ней без всяких неприятных для нее последствий. Статья эта нимало не превосходила своим жаром прежних декламаций; не стоит она внимания ни в каком отношении; но она послужила пробирным камнем для проведения черты мирного зеленого цвета рукою Делангля, — как же нам не присмотреться к произведению г. Леузон-Ледюка, получившего честь рубцом на своей спине свидетельствовать о сохранении европейского спокойствия?

По поводу одной книги об истории Италии за последние десять лет знаменитый знаток русской истории г. Леузон-Ледюк объявляет, что Италия излечилась от прежних неопытных мечтаний и получила теперь способность действовать против Австрии основательнее. Теперь, говорит он, Италия не такова, как в 1848 и 1849 годах.

«Как переменялись времена! — восклицает правдолюбивый защитник Италии. — К Пьемонту теперь примыкают даже те, которые более всех других не доверяли ему, отталкивали его от себя с наибольшей энергией. «*Viva Verdi!*» — этот символический крик раздается с одного конца полуострова до другого, — блестящий симптом, если не единства, может быть, невозможного, то, по крайней мере, общего согласия, носящего на своем знамени знаменательный девиз: «независимость и свобода!» Сам Мадзини, этот нетерпеливый агитатор, отказываясь от исключительности своей системы, присоединяется к усилиям для достижения общей цели. Оставим на минуту вопрос о внутренней организации и остановимся на вопросе об освобождении от иностранцев; он теперь — самый настоятельный. Что значит этот всеобщий крик «*Viva Verdi!*», если не соединение к освобождению от иностранцев? Но, говорят, достаточно ли будут силы одной Италии для этого? Единодушное восстание целого народа — очень могущественный рычаг. И не приписывают ли Австрии силу, которой она не имеет? Вспомним венгерскую войну, особенно вспомним странный состав Австрийской империи. Сколько в ней самой таких элементов, которые могут развлечь ее силы! Одного движения у этих венгров или у этих славян, подобно итальянцам негодующих на габсбургский скипетр, было бы слишком достаточно, чтобы принудить итальянскую армию Франца-Иосифа отступить, а кто не предвидит вероятности такого движения? И разве Италия рассчитывает только на свои силы для свержения ига своих поработителей? Нет, она призывает на помощь все благородные нации. Ее дело, дело справедливости и цивилизации, оно — наше дело. Мы боимся вмешательства, — почему же? Не должны ли мы скорее с признательностью приветствовать представляющийся случай положить, наконец, предел этой болезни, мучающей Европу и задерживающей колесницу прогресса?

«Австрия повсюду поднимает голову в Италии, она поднимает голову и вне Италии. Не Австрия ли уничтожила все результаты Парижского трактата? Не Австрия ли внушает Турции все ее измены, все ее преступления? Не Австрия ли возмутила союз, соединявший нас с Англиею? Война, которая избавит нас от этого кошмара, не должна ли быть благословляема между всеми войнами? Такова война, готовящаяся в Италии. Вот почему мы смотрим на нее с доверием и спокойствием».

Что замечательного в этой статье? Разве то, что преднамеренных ошибок в ней по крайней мере столько же, сколько справедливого. Итальянцы будто бы отсрочивают вопрос о внутренней организации до той поры, пока решится дело национальной независимости. Какое же ручательство в том? Символический крик *viva Verdi!* то есть *Viva V(ictor) E(mmanuel) R(é) d'I(talia)* — «да здравствует Виктор-Эммануил, король всей Италии»? Но, во-первых, вся ли Италия повторяет этот крик? Кажется, он слышен только в Ломбардии и в Модене; Неаполь, Рим и самая Венеция даже и теперь не высказывают охоты склониться перед Туринном. Да и в Ломбардии можно ли положиться на этот «блестательный симптом»? Кому не известно, что первоначальный крик быстро сменяется другими по мере того, как развиваются события? В 1848 году итальянское движение началось с криком «да здравствует папа Пий IX!» А через несколько месяцев оно пришло к тому, что Пий IX почел нужным бежать из Рима; и чтобы восстановить его власть, Наполеон III, бывший тогда президентом республики, почел за нужное послать против Рима французское войско, которое до сих пор, вот уже целые десять лет, стоит в Риме. Почему знать, что, возбуждив итальянское движение теперь, как Пий IX возбуждал его одиннадцать лет тому назад, Виктор-Эммануил не увидел бы себя в необходимости восстанавливать свою власть даже над наследственными землями тем же средством, каким восстановилось правление Пия IX в Риме? Мы уже не говорим о Ломбардии или Венеции, или Тоскане; но может ли он рассчитывать и на преданность значительной части своих нынешних подданных, если им не будет нужно молчать о своих чувствах к нему из опасения от австрийцев? Генуя недавно была усмирена только формальной осадой. Теперь она встретила Виктора-Эммануила с триумфом, но ведь это потому, что она хочет войны по воспоминанию о 1848 году, когда в несколько месяцев она обогатилась торговлею с Миланом, пока он был свободен от австрийцев. Она и в 1848 году желала войны, однако ж, это не помешало ей в свое время выразить нежелание подчиняться Турину. Но теперь, говорит Леузон-Ледюк, сам Маццини хочет помогать сардинскому королю и графу Кавуру. Так эта помощь важна? Так маццинисты действительно сильны в Италии? Это можно видеть из неосторожных слов Леузон-Ледюка; но чтобы туринский кабинет остался безопасен при такой помощи, этому трудно поверить. Ныне Маццини может быть и не хочет мешать Кавуру, но из этого не следует, чтобы по изгнании австрийцев он не вздумал, вместе с генуэзцами, предъявить свои желания.

Если бы выговор был дан за преднамеренные ошибки, статья заслуживала бы его; но он дан просто за воинственность. Мировлюбивые идеалисты сообразили, что это еще первый выговор, данный какой-нибудь газете в министерство Делангля, который,

очевидно, хочет прибегать к такому средству только в случае крайней надобности; тем больше значения получала эта экстренная мера: если уже Делангль сделал выговор, значит, война стала слишком противна видам правительства.

Душевная безмятежность, вносившаяся во французское общество таким рассуждением, была несколько нарушена циркуляром того же самого Делангля к префектам. В нем он говорил, «что они должны объяснять речь императора не в смысле безусловного миролюбивом, что есть опасность, которая страшнее войны, именно то, когда умы, предавшиеся материальным интересам (то есть мыслям о гибельности войны для народного благосостояния), забывают о преданиях чести и патриотизма», — иначе сказать, что хотя Наполеон III хотел бы сохранить мир, но национальная честь требует войны, и люди, думающие иначе, — самые вредные люди. Циркуляр заключался приказанием смотреть, чтобы провинциальные газеты говорили в таком тоне: «если же не в силах газет одушевиться тем высоким языком, каким император говорил с Европою, то достоинство их требует не ослаблять его действия толкованиями, обличающими эгоизм или малодушие», — это значило, что газеты, не желающие склоняться в пользу войны, должны молчать. Этот циркуляр, сделавшийся в Париже известным (15 февраля) накануне выговора, данного *Presse*'е, несколько парализовал впечатление выговора; а еще больше ослабилось оно толкованием о происхождении знаменитого выговора. Говорили, будто бы австрийский посланник сказал графу Валуевскому, что выедет из Парижа, если не получит удовлетворения за нападки *Presse*'ы на Австрию; таким образом, выговор оказывался только дипломатическою учтивостью.

Но эти два небольшие нарушения миролюбивых симптомов были последними отголосками прежней воинственности, да и они оказались не имеющими важности, какую им придали. Выговор не был просто дипломатическим оборотом: хозяин *Presse*'ы Мильйо, вероятно, осязал его серьезность, потому что немедленно продал газету, «а то, чего доброго, говорил он, запретят ее». Принц Наполеон, до сих пор ей покровительствовавший, сказал хозяину, что не в силах защитить ее от опасностей. Новый хозяин не захотел служить органом воинственной партии, и прежний редактор Геру должен был уступить свое место другому, который хочет вести ее в духе орлеанской партии, питающей к принцу Наполеону и его фамилии то же самое чувство, какое прежняя *Presse* имела к Австрии. Да, расклеивается каждое маленькое дело у людей, против которых повертывается счастье в главном деле. Хотели обуздать вредную ревность союзника, и что же вышло? Орган, принадлежавший слишком усердному союзнику, перешел в руки врага. Действительно ли хотел Делангль сделать серьезный выговор *Presse*'е или только Валуевский оказывал через него дипломатическое приличие австрийскому

посланнику, мы не знаем; но, как бы то ни было, выговор получил очень серьезную силу. Совсем не такова была судьба циркуляра: он оказался бессильным, хотя нельзя сомневаться в том, что им вовсе не хотели шутить. Провинциальные газеты, быть может, и замолчали на несколько дней, но уже давно опять говорят против войны, чуть ли не сильнее прежнего.

Явилась оппозиция более опасная, нежели газеты. В прошлый раз мы упоминали о том, как сильно говорят депутаты в салонах против войны. Теперь они начали говорить подобным образом даже в зале своих собраний, — мы ошиблись, еще не в главной зале общих собраний, а только в маленьких частных залах, где собираются для комитетских совещаний отделы законодательного корпуса (бюро) или заседают комиссии. Самым поразительным случаем подобного рода была встреча бюджета. Вот как рассказывают это дело. Бюджет 1860 года показывает число армии и расходы на нее почти в таких же цифрах, какие были в прошедшем году и утверждены для нынешнего года. Комиссия законодательного корпуса по финансовым делам, получив новый бюджет, объявила, что недоумевают, каким образом согласить эти цифры мирного положения с слухами о войне. «Законодательный корпус может заниматься только серьезными цифрами, — сказала комиссия, — он не захочет утверждать такой бюджет, к которому будут сделаны потом прибавки экстренных кредитов на ведение войны». Поэтому, прежде нежели начать рассмотрение бюджета, комиссия потребовала у правительства объяснения о том, серьезные ли цифры бюджета. Комиссионер правительства для объяснений с законодательным корпусом по бюджету, Барош, должен был объявить, что цифры бюджета, по искреннему убеждению правительства, не потребуют прибавок и что правительство уверено в сохранении европейского мира.

Депутаты, начинающие, как видим, наступательное движение, становятся с каждым днем смелее, — т. е. на словах, от которых еще далеко до дела. Даже бывшие министры Наполеона III [говорят очень странные вещи. Например, Друэн-де-Люи громко говорит, что единственное средство «поддержать в государстве порядок — надеть на Луи-Наполеона рубашку без рукавов». Лица еще более] близкие к нынешнему правительству от прежней системы почтительных возражений переходят к такому образу действий, которого сами никак не одобрили бы месяца за полтора или за два. Например, вот что произошло между Персиньи и принцем Наполеоном при той церемонии, когда передавался в архив императорской фамилии документ о бракосочетании принца Наполеона. Персиньи присутствовал тут как член тайного совета. Зашла речь о войне. Принц Наполеон выразил пренебрежение к трактатам 1815 года, сказал, что надобно плевать на них (they should be cast to the winds) и освободить Италию в противность им; а если общественное мнение, прибавил он, противно-

такой политике, то не надобно смотреть на него. Персиньи перебил его словами, что подобный образ мыслей вреден не только для правительства, но и для всего общества, и что подобная политика была бы противна интересам Франции. Потому, продолжал он громким голосом, я всегда буду противиться ей всеми силами. Разговор в этом тоне тянулся довольно долго, словом сказать, на торжественной церемонии произошла очень жаркая сцена в противность всякому этикету.

Не только отдельные сановники, подобно Персиньи доказывавшие, что имеют мужество противоречить желаниям императора, когда то нужно для его собственной пользы; не только депутаты законодательного корпуса, между которыми есть десятка полтора людей независимых, имеющих некоторое влияние на толпу своих товарищей, делают оппозиционные попытки, — даже в сенате, составленном самим императором из самых покорнейших ему людей, начинают слышаться речи очень резкие. По случаю бракосочетания принца Наполеона надобно было увеличить его содержание. Это производится решением сената (*senatusconsult*). Покорные члены не могли и думать о том, чтобы отвергнуть предложение о назначении принцу Наполеону требуемой прибавки в 700.000 франков; а между тем непременно хотели выразить свое неудовольствие на принца. Как это сделать? Двое из членов сената, Кастельбажан и Буасси, придумали средство: надобно предложить в *senatusconsult'e* изменение такого рода, что 700.000 франков назначаются не принцу Наполеону, а просто предоставляются в распоряжение императора. Эта очень замысловатая протестация так понравилась сенаторам, что накануне прений Париж ожидал ее принятия большинством сената. Но сами предводители оппозиции испортили дело, слишком надеявшись на доблесть своих товарищей. Речи, ими сказанные, были так резки, что сенаторы перепугались; и когда дело дошло до подачи голосов против *senatusconsult'a* в его первоначальном виде, оказалось против него только два голоса самих ораторов, а все остальные члены сената благоразумно отступились от геройского замысла. Результат не блистательный; но каков бы он ни был, страшно уже самое появление оппозиционных попыток в верном сенате. Потом по вопросу о бюджете сенатская комиссия бюджета точно так же требовала объяснений, как и комиссия законодательного корпуса.

Можно вообразить себе, как силен ропот против войны, если даже сенат чуть-чуть было не вздумал попытаться быть его отголоском. До сих пор уверяли, что, по крайней мере, французская армия желает войны единодушно. Было известно, что некоторые из важнейших генералов, например, Пелиссье и Канробер, — против войны; но говорилось, что они составляют исключение. Теперь всем известно, что из генералов большая часть — против войны; что между солдатами также мало охоты идти в Италию.

Только офицеры, особенно штаб-офицеры, надеющиеся скорее дослужиться до генеральских эполет на полях битвы, желали бы идти в поход. Словом сказать, даже большинство армии едва ли не против войны. Принц Наполеон и его прежний орган, газета «*Presse*», уверяли, что, лишаясь прежних приверженцев в промышленном сословии, правительство приобретет себе усердных защитников между прежними врагами — республиканцами и революционерами. Эти партии, ожидающие в скором времени благоприятного случая для решительных действий, в последнее время держали себя очень осторожно и молчали. Их молчание истолковывалось в смысле согласия. Но вот и эта надежда исчезла. Парижские республиканцы в половине февраля собирались у Карно и решили, что они — против войны. Через несколько дней был в Лондоне митинг французских изгнанников демократической партии и также объявил себя против войны.

Положение вообще сделалось в самой Франции еще гораздо затруднительнее, нежели как было в январе месяце. Давно уже было известно, что коммерческие палаты по всей Франции хотят подавать просьбы о сохранении мира; они имели на это слишком много оснований. Не только фонды и другие кредитные бумаги сильно падают, производя повсюду разорение, но и вообще торговля остановилась, заграничный отпуск чрезвычайно уменьшился, фабрики не имеют заказов, во всех торговых городах множество банкротств. Но вздумали было остановить протест торгового сословия простым запрещением. Через несколько дней оказалось, что запрещением нельзя утишить недовольство. Тогда сам император принял депутацию одного из торговых городов и в ответ на жалобы сказал: «Господа, успокойтесь, мир не будет нарушен» (*Rassurez vous, Messieurs, la paix ne sera pas troublée*). Это было в половине февраля. Но после того недовольство в обществе росло; оппозиция сановников становилась все сильнее; сенат совершил мужественное дело, выслушав, хотя с испугом, речи против войны и ее представителя, принца Наполеона; наконец, законодательный корпус потребовал объяснений относительно бюджета, и, не ограничиваясь этим, бюджетная комиссия единодушно предложила сделать новое, еще более резкое нападение. Она хотела предложить уничтожение нового министерства Алжирии и колоний, т. е. потребовать отставки принца Наполеона, бывшего представителем единственности в совете министров. С половины февраля вражда остальных министров к нему дошла до такой резкости, что он три раза требовал отставки, т. е. предлагал императору выбор между ним и остальными министрами, надеясь, что его предпочтут им. Это было действительно правдоподобно по тем соображениям, какие мы излагали в предыдущей статье: Франция может противиться войне, но война необходима для нынешней системы. Поэтому носились слухи об удалении в отставку министров, особенно сильно споривших с прин-

цем Наполеоном. Но с каждым днем их положение усиливалось, и вот, наконец, 5 марта к общему изумлению явилось в «Монитёр» официальное уведомление, объявлявшее, что газеты, говорящие о войне, вовсе не должны считаться представителями намерений правительства, потому что во Франции нет цензуры, следовательно, правительство не отвечает за мнения журналистов. За этим уведомлением следовала статья, подробно объяснявшая, что Франция не делает никаких особенных усилий ни в армии, ни во флоте. Франция обещала помогать Пьемонту, если на него нападет Австрия, — больше не обещала и не хочет она ничего. Слухи об усиленных приготовлениях к войне — «выдумки, ложь и бредни». Пехотные и конные полки остаются в комплекте мирного штата. Покупка 4.000 лошадей для артиллерии сделана только для ремонта, чтобы привести ее к нормальному мирному положению. Работы в арсеналах происходят только потому, что надобно исправить артиллерию и флот, и если построено несколько новых судов, то единственно для обыкновенных сношений с Алжириєю и для провоза съестных припасов в Чивита-Веккию или в Александрию для кохинхинской экспедиции; потому слухи о войне нелепы; выдумываются злонамеренными людьми; принимаются на веру глупцами. Конечно, французский император наблюдает за причинами могущих возникнуть несогласий; но рассмотрение этих вопросов приняло дипломатический характер, и надобно думать, что они разрешатся мирным соглашением. В то же самое время в английских газетах явилось письмо императора французов к одному из его английских друзей, мистеру Геду, с уверением в симпатии к Англии, о которой он вспоминает с глубокою любовью, потому что провел в ней много лет изгнания; император всегда был поклонником английской свободы; жаль, что она, как и все хорошее, имеет крайности. Зачем она вместо разъяснения истины употребляет все усилия для ее помрачения? Только несправедливая вражда английских газет огорчает императора, счастливого, впрочем, тою мыслию, что он нашел такого добросовестного и бескорыстного защитника, как сэр Фрэнсис Гед. К этому письму было приложено письмо самого Геда, объяснявшего, что действительно такое злоязычие английских газет мешает упрочению союза Англии с повелителем полу-миллиона солдат. В приложениях мы помещаем эти документы в том самом виде, как они были напечатаны в «Санктпетербургских Ведомостях», с ответами на них газеты Times, к которой специально относилось примечание, следовавшее в «Монитёре» за миролюбивую статью, в столбцах которой появлялись статьи Геда в защиту Наполеона и в редакцию которой он обратился с просьбою напечатать письмо Наполеона и его комментарии.

В первые минуты статья «Монитёра», изумившая всех, всех убедила в решимости императора французов кончить дело ми-

ром. Но через несколько часов стали говорить, что она еще недостаточна, и тогда вздумали поместить в «Монитёре» вторую статью, которая бы рассеяла остающиеся сомнения. Но вечером принц Наполеон вышел в отставку, и объявление об этом, явившееся на другой день в «Монитёре», было сочтено достаточным усилием миролюбивых уверений, так что для новой статьи почли излишним слишком высокое помещение в «Монитёре», а отвели ей место в *Constitutionnel*'е.

Отставка принца Наполеона составляет важнейшую из миролюбивых демонстраций. Она успокоила многих даже между такими людьми, которые не верили «Монитёру». Миролюбивые французские газеты заговорили смелее прежнего, и никто им до сих пор не мешает доказывать, что война была бы безрассудством со стороны французского правительства и гибелью для Франции.

До сих пор мы говорили о симптомах, происходивших внутри Франции; теперь посмотрим, как развивался итальянский вопрос в сфере дипломатических переговоров, и в каком положении видят себя державы, вовлеченные в него Францией.

С самого начала Англия приняла очень сильное участие в раздоре Франции с Австриею, усиливаясь предупредить войну. Из объяснений английских министров в парламенте мы знаем, что сен-джемский¹ кабинет посылал множество депеш к отдельным дворам и несколько циркуляров к кабинетам парижскому, туринскому, венскому и некоторым другим. Общее содержание всех этих бумаг состояло, во-первых, в том, что Англия советует враждующим державам сделать взаимные уступки; во-вторых, и это было главное, она объявляла, что будет вооруженною рукою действовать против той стороны, которая первая нарушит мир,— против Австрии, если нападет на Пьемонт Австрия, против Франции, если Франция захочет помогать Пьемонту в случае его нападения на Австрию. От Австрии никто не ждет нападения, потому очевидно, что действительный смысл грозного запрещения относится только к Франции. Мы рассказывали в прошлый раз, как под влиянием этих увещаний один за другим исчезали предлоги к войне, выставлявшиеся Францией. Развязалось мирным образом сербское дело. Франция отыскала новую причину войны в Папской области; Англия опять устроила, что исчез и этот предлог: Австрия согласилась вывести свои войска из легатств, если Франции действительно угодно вывести из Рима свои войска. Появился было третий предлог: избрание Кузы общим господарем Валахии и Молдавии; но через два-три дня исчез и он: было решено устроить это дело посредством конференции. Казалось бы, нелегко отыскать четвертый предлог, но нашелся и он: вдруг разнеслись слухи, что парижский посланник Англии, лорд Коули, через Лондон едет в Вену посредником по какому-то новому спорному вопросу. По какому же делу он едет, когда все

дела уже благополучно кончены? Несколько дней господствовало недоумение; наконец, узнали, какие требования привез он; узнали, что дан отказ на них; узнали, что в Вене составлены другие предложения; что получено на них одобрение Англии; что отправлены они в Париж и там имеют вероятность быть принятыми. Наконец, узнали, что по итальянскому вопросу соберется конгресс в Лондоне или Берлине.

Эта четвертая французско-австрийская дипломатическая история занимала Европу одна чуть ли не столько же времени, как все три прежние вместе: с половины февраля все толкуют о посольстве лорда Коули, и толки еще не кончились. В чем же дело?

Когда Австрия согласилась вывести войска из Папской области, то было открыто, что жалобы Франции против нее по итальянским делам не ограничиваются содержанием ее гарнизонов в некоторых землях Центральной Италии, а проистекают также из трактатов, заключенных ею с Неаполем, Тосканою, Пармою, Моденою. Общее содержание трактатов состоит в том, что австрийские войска должны помогать этим правительствам в подавлении революций, которые могли бы вспыхнуть против них; а в вознаграждение за такую опору итальянские правители обязались не делать в политическом устройстве таких изменений, которые могли бы возбуждать зависть в ломбардо-венетианцах. Таким образом, говорит Франция, Австрия держит под своей зависимостью всю Италию, кроме Пьемонта; надобно уничтожить эти трактаты. И тут опять едва ли встретилось бы серьезное затруднение, если бы это требование не скрывало под собой новых требований в случае согласия на него со стороны Австрии. Трактат с Неаполем не нужен для Австрии, потому что и без всяких обязательств неаполитанское правительство не имеет никакой охоты давать конституцию; а если бы (чего никак нельзя предполагать) серьезно захотело дать ее, то никакие трактаты не помогли бы Австрии против государства, имеющего более 9.000.000 населения, т. е. вдвое более, чем Сардиния, и притом довольно далекого от австрийских границ. Что же касается до Пармы, Модены и Тосканы, их привязанность к Австрии и без письменных обязательств достаточно прочна по династическим отношениям. Из-за чего же было бы тут серьезно спорить? Но говорят, будто Австрия не согласна на отмену трактатов, в сущности не очень важных. Мы не будем останавливаться на догадках о дипломатических тайнах, т. е. о мелочных подробностях австрийского официального ответа: дело ясно и без всяких стараний проникнуть в секреты. Во-первых, влияние Австрии на Италию в случае отмены трактатов не исчезнет без замены другим иностранным влиянием: Пьемонт, руководимый Франциею и служащий ее орудием, почти уже сделавшийся ее вассалом, будет давать тон другим итальянским правительствам, и тон этот будет чисто

французский. По всей вероятности, Австрия согласилась бы предоставить Неаполь, Тоскану и т. д. непринужденному влечению их сердец, но не так легко ей отдать Италию под влияние Франции. Во-вторых — и в этом сущность дела — даже и такая уступка не прекратила бы ссору. За четвертым требованием явилось бы пятое и т. д., пока вопрос бы дошел до своего коренного смысла, до очищения Ломбардо-Венецианских провинций Австриею с предоставлением их Пьемонту и с вознаграждением Франции за ее хлопоты или присоединением Савойи, или основанием вассального французского королевства где-нибудь в Тоскане или в легатствах.

Таким образом, не надобно придавать слишком большой важности ходу официальных переговоров о том или другом вопросе, формально выставляемом вперед. Все они, в сущности, не более как препровождение времени в приличных разговорах, между тем как на душе у собеседников мысли совершенно иного рода, о которых нет ясных упоминаний в беседе.

Действительно, мы видим, что предметы открытого несогласия один за другим отстраняются, — три уже отстранены; о четвертом думают, что Франция и Австрия подошли очень близко к согласию в нем, и собирается конгресс для разрешения дела мирным путем. В самой Франции, соответственно этим наружным дипломатическим фактам и требованию французского общества, мирные симптомы взяли в последнее время решительный верх над военными манифестациями; прусское правительство формально объявило в своей палате депутатов, что мирное разрешение возникших затруднений сделалось правдоподобным. А между тем надежды на сохранение мира теперь едва ли не меньше, нежели до громких мирных манифестаций, которыми ознаменовалось начало марта. Военные приготовления во Франции, Сардинии, Австрии, Англии продолжаются с энергиею, которая увеличивается ежедневно. В последнее время начала становиться в оборонительное положение и Пруссия, увлекая за собою те второстепенные государства Германского союза, которые не предупредили ее в этом направлении.

Нам нет надобности повторять здесь того, что мы говорили в прошлый раз о существенных причинах угрожающей войны. Мы уже указывали, что они лежат в отношениях французского правительства к общественному мнению во Франции и в некоторых угрозах со стороны итальянских энтузиастов. В дополнение к прежним рассказам приведем несколько случаев, сделавшихся известными с половины февраля. Очень многим читателям они известны из русских газет, но мы и не можем иметь претензии на сообщение новых фактов: газеты всегда будут предупреждать нас в этом отношении, и мы желаем только облегчать воспоминания о газетных известиях, приводя их в связь.

Говорят, что маршал Пелиссье имел в Лондоне свидание с

Маццини, будто бы за тем, чтобы узнать, могут ли Франция и Сардиния рассчитывать на содействие его партии при войне. Но предполагается, кроме этой, и другая цель: склонить Маццини, чтобы он убеждал итальянских революционеров отказаться от орсиниевских предприятий, о которых мы говорили в прошлый раз. В дополнение к прежним, рассказывают о двух новых случаях такого рода.

В итальянской газете *Opinione* было краткое известие о какой-то адской машине, посылавшейся в Париж и захваченной таможеню. С другой стороны, в парижских газетах было известие о том, что принцесса Матильда приезжала к префекту полиции взглянуть на какие-то старинные документы. Эти два отрывочные обстоятельства парижский корреспондент *Daily News* объясняет следующим образом.

«Дней десять тому назад (т. е. около 15 февраля н. с.), как я знаю из верного источника, человек, казавшийся по наружности лакеем и одетый в императорскую ливрею, явился на одну из станций железных дорог в Париже и спросил три ящика, которых ожидает принцесса Матильда с поездом, только что пришедшим в Париж, и на которых должна быть надпись «оставить на станции до востребования». Ему сказали, что действительно прибыли такие ящики, но только два. Он взял их, повторив, что ожидал трих. На следующий день прибыл третий ящик с такою же надписью. Конторщики железной дороги прямо послали его в дом принцессы Матильды на улице *Sourcelles*. Швейцар, выслушав историю двух других ящиков, сказал, что он их не видел. Принцессе доложили о полученной посылке, и она вышла в зал взглянуть на нее. Ящик вскрыли при ней и нашли в нем бомбы, точно такого же устройства, как орсиниевские, только несколько поменьше размером. Разумеется, стали страшно беспокоиться мыслью, что два другие ящика, вероятно, с подобною же поклажею, скрываются где-нибудь в Париже и находятся в руках заговорщиков. В этот вечер или на следующий было то, что император ездил в *Oréa Comique*, причем, как пишет и корреспондент одной из английских газет, были замечены чрезвычайные предосторожности. Теперь я слышал, что при этом случае было поставлено на бульваре два эскадрона кавалерии, — количество войск совершенно беспримерное, — и что пространство около подъезда было совершенно очищено от народа на необыкновенно большое расстояние. Причина этих предосторожностей теперь очевидна. Едва ли можно сомневаться, что принцесса Матильда была в префектуре полиции по делу, имеющему связь с тревожным открытием, о котором я рассказываю. Быть может, — впрочем, об этом еще нет слухов, — что она и ее слуги приезжали взглянуть, сходны ли с полученным ими ящиком какие-нибудь два другие, отысканные полициею. Туринская газета *Opinione*, издающаяся под влиянием французского правительства, кратко упоминала о ящике с бомбами, посланном на имя принцессы Клотильды. Но я почти совершенно могу ручаться, что достоверный рассказ — тот, который передаю я».

Через несколько дней парижский корреспондент другой английской газеты, *Manchester Guardian*, сообщил об этом деле рассказ, почти совершенно сходный с приведенным нами, а в другом письме рассказал другой случай, который передаем его подлинными словами:

«Назад тому недели три произошло, говорят, загадочное обстоятельство, достоверность которого я знаю. В Тюильрийском саду был схвачен и обыскан человек, у которого был револьвер и две или три ручные гранаты, усеянные

пистонами в виде рожков, как на орсиниевских гранатах. Разумеется, его отвели в тюрьму. Он называл себя итальянской фамилией и имел итальянский выговор. Он сказал, что может дать полиции важные сведения, потому что участвует в тайном обществе. Но два или три дня он был молчалив и, наконец, стал просить, чтобы ему дали товарища, говоря, что не может и не хочет говорить ничего, пока его станут держать в одиночном заключении. Ему дан был товарищ, один из людей, служивших в тюрьме, что-то вроде архивариуса или библиотекаря. Тогда итальянец раскрыл или показал вид, что раскрывает много тайн. Но на другой или на третий день допрашивавшие чиновники возвратились и объявили ему, что по произведенным дознаниям ни одно из его слов не подтвердилось фактами и что ему надобно решиться говорить правду. Он сказал, что объявит ее завтра. Его оставили на ночь в покое. Но в четвертом часу утра он встал, взял бритву своего товарища и перерезал себе горло. Призванный доктор нашел, что рана сделана с такою силою, что арестант должен был умереть в несколько минут. Эта история мало известна публике; хорошо известна она немногим и те различно ее истолковывают».

С первого взгляда легко открыть множество поводов к сомнению в достоверности обоих этих анекдотов. Особенно второй имеет неправдоподобные черты. Но люди доверчивые или мнительные находят много причин принимать их за истину. Рассказ туринской газеты, преданной императору французов, должен был явиться не иначе, как следствием невозможности опровергнуть слух. Посещение префектуры принцессою Матильдою плохо объясняется желанием рассмотреть какие-то старинные документы; чрезвычайные предосторожности при посещении театра императором были приняты, конечно, не без причины. Наконец, следующий рассказ, который можно очистить от всех неправдоподобных подробностей, сохранив только главную черту, именно арестование и самоубийство человека, пойманного с орсиниевскими гранатами, служит естественным продолжением первого рассказа, хотя сообщается совершенно другим корреспондентом. Так рассуждают мнительные люди, прибавляя, что должны же быть на чем-нибудь основаны хотя некоторые из подобных рассказов, ходящих по Парижу в таком большом количестве.

Достоверно то, что итальянские фанатики любят говорить о том, что орсиниевские попытки будут беспрестанно повторяться, пока Наполеон III не докажет на деле своего желания освободить Италию. Мнительные люди прибавляют, что посылка бомб, по сообщенному нами рассказу, совпадает с тем временем, когда Северная Италия прочла миролюбивые речи императора французов и графа Морни; когда разнеслись слухи, что Виктор-Эммануил написал императору французов письмо, жалуясь, что император охладевает к итальянскому делу, и высказывая свое намерение отказаться от престола, если это действительно так. При этих слухах, продолжают мнительные люди, некоторые особенно горячие головы действительно могли почесть излишним сохранять далее систему пощады, принятую всею их партией; могли подумывать, что итальянский вопрос уже заглушен, и пора им мстить за свое разочарование.

Подобные размышления составляют одну сторону дела; приведем два-три факта в дополнение к тому, что говорили в прошлый раз о другом источнике войны, об отношениях общественного мнения к внутренней политике. Мы представляли несколько доказательств тому, что в конце прошедшего года оно выражалось очень настойчиво, и с каждою неделей его настойчивость возрастала, и что приготовления к войне служили средством, чтобы обратить его от внутренних дел на заграничные; мы прибавляли, что на первое время эта фонтанель подействовала, и что во французских газетах за январь вся энергия уходила на итальянский вопрос. Само собою разумеется, что временное отвлечение стало терять свою силу, как только утратило первую новизну, и в скором времени тот самый предмет, который должен был служить отвлечением, обратился в новое поощрение для возвратившейся настойчивости. Вот каково, например, заключение статьи *Journal des Débats* о поездке графа Коули в Вену:

«Мы не можем видеть французское правительство делающим столь великие усилия для приобретения этой прекрасной стране (Италии) соединенных благ порядка и свободы, не обращая мыслью к состоянию нашей страны и не чувствуя желания, чтобы пришел для Франции день, когда эти два блага стали бы нераздельны, когда мы могли бы наконец безопасно наслаждаться теми драгоценными выгодами, которые ныне с таким усердием хотим, как говорим, дать народам, наверное не превосходящим нас ни блеском ума, ни рассудительностью, ни энергиею, ни славою. Как ни суровы были до сих пор испытания свободы в нашей стране, мы не можем верить, чтобы свобода должна была бессильно прозябать в ней, как в бесплодной земле, и чтобы французская почва была решительно неудобна для этого благородного растения, столь же необходимого нашим душам, как хлеб и вино необходимы для нашего тела. Мы отвергаем бесчеловечный каламбур, присуждающий Францию считать свободу только товаром на вывоз, полезным для других и вредным для нее самой; мы составляем себе о будущности нашей страны мысль более возвышенную и более отрадную».

Эта статья напечатана в номере 3 марта.

Если осторожный *Journal des Débats*, всегда державший себя так скромно, что не получал ни одного выговора, говорил таким языком еще до уступки, сделанной противникам правительственных желаний статьею «Монитёра», то нетрудно отгадать, что другие газеты, менее дипломатичные, говорили резче; а после статьи «Монитёра» заговорили еще сильнее.

[Об увеличении требовательности общественного мнения в последние недели довольно хорошо можно судить по сравнению толков, бывших в Париже после речи императора и после статьи «Монитёра». В оба раза одинаково было сказано, что правительство не подавало никаких причин к слухам о войне, и что беспокойство, овладевшее умами, просто — следствие фантазерства или легкомыслия. Рассуждая о таком отзыве после речи императора, французы замечали только, что не согласны с ним; но никому не приходило в голову принимать его как обиду нации. Это было

8 февраля. Посмотрим же, что говорилось невступко через четыре недели, 6 марта. Мы переводим буквально.

«Как бы ни было подавлено во Франции политическое чувство, как бы ни была она скудна всякою мужественностью и независимостью духа, все-таки чрезвычайно неблагоприятно делает тот, кто явно выражает свое презрение к народу, им управляемому. В последние месяцы мы только это и видели. Порицания, которым подвергается целая страна в статье «Монитёра» за то, в чем она вовсе не виновата, — вещь очень странная; многие люди, до сих пор не хотевшие сознаться, что они рабы, теперь с досадою восклицают: «долго ли будем мы выносить тех, которые говорят с нами подобным образом?»

Тут нечего прибавлять никаких замечаний].

Мы видели в законодательном корпусе и даже в сенате стремление к оппозиции. Обе корпорации объявили свое недоверие к бюджету; обе требовали у правительства положительных уверений в ненарушимости мира, говоря, что без этого не стоит и заниматься рассмотрением бюджета; законодательный корпус требовал даже удаления принца Наполеона из совета министров, и принц был удален, и уверения даны. Довольно ли всего этого, чтобы судить о том, как растет требовательность общественного мнения? Нет, есть факт еще более ясный. Вот подлинные слова парижского корреспондента газеты *l'Indépendance Belge* в письме от 4 марта. Читатель знает, как заботится эта газета о том, чтобы не подвергаться запрещением во Франции, и как осторожно помещает она парижские известия.

«Носится слух, — я не знаю, какого доверия он заслуживает, — что в комитете министров обсуждался проект закона в изменение нынешних постановлений о журналистике. Этот проект должен изменить нынешнее законодательство в либеральном духе. Но вот что более положительно: г. де-Персиньи, этот неутомимый династический слуга наполеоновской монархии, prepares проект конституции, которому старается приобрести большинство в сенате. Одно из оснований проекта — изменение статьи, устанавливающей неответственность министров. Г. де-Персиньи хочет такой организации кабинета, по которой кабинет, делаясь фактически ответственным, становится бы в теснейшую связь с общественным мнением».

Предоставляем читателю самому выводить заключение о нынешнем положении дел из этого известия. Основная черта парламентского правления состоит в том, что министрами назначаются люди, пользующиеся большинством в собрании представителей нации (например, в Англии — палата общин, в Пруссии — палата депутатов, во Франции — законодательный корпус), и, как скоро большинство этого собрания перестает поддерживать их, выходят в отставку, уступая место тем людям, на которых указывает большинство. В этом состоит существенный смысл так называемой ответственности министров. Она предполагает, что министры действуют самостоятельно, и потому при парламентском правле-

нии никогда не говорится формальным образом о влиянии на них монарха для внушения им того или другого образа действий: предполагается, что это значило бы компрометировать представителя верховной власти, и предполагается, что он не участвует в столкновениях между разными партиями, беспристрастно отдавая предпочтение той, на стороне которой общественное мнение, выражающееся парламентским большинством. По нынешней конституции этого нет во Франции: все действия министров предполагаются исполнением личной воли императора, и министры отвечают за свои распоряжения ему, т. е. должны сообразоваться с его желанием, а не с мнением парламентского большинства, т. е. министры не обязаны ответственностью перед представителями нации: не ими вводятся в кабинет, не ими выводятся из кабинета. Формальным образом в этом состоит различие нынешней французской системы от той, какая была при Луи-Филиппе и какая существует, например, в Англии. Таким образом, изменение, предполагаемое Персиньи, имело бы тот формальный смысл, что Наполеон III принимал бы в своем государстве такое положение, как, например, имеет в своем государстве королева Виктория. Конечно, от формальных постановлений до действительного порядка дел очень далеко; ясно также, что при данном характере и данной предшествовавшей истории нынешнего правительства подобная перемена в нем — не только на деле, но и по форме — не более как мечта. Не нужно также доказывать, что если бы ни личный характер, ни предшествующая история не противились такому изменению, оно делалось бы невозможным уже по основным принципам существующих партий. В прежние времена, и не дальше как, например, в деле Монталамбера², защитники нынешней французской системы справедливо утверждали, что свободное парламентское правление возможно только в тех странах, где существование династии прочно и где политические партии спорят только о том, каковы должны быть министры, нисколько не желая перемен в династии. Министры и журналисты Наполеона III справедливо утверждали, что положение дел во Франции не таково, что почти все общество примыкает к двум большим партиям орлеанистов и республиканцев, одинаково враждебных нынешней династии, и что в этом состоит существенная разница Франции от Англии. Вспоминая эти справедливые слова самого Наполеона III и его приверженцев, мы видим в проекте Персиньи только благонамеренную утопию, которая не может иметь никакого фактического значения. Но утопии важны в том отношении, что показывают направление мысли в людях, предающихся им, показывают понятие этих людей о потребностях своего положения. С этой стороны очень занимателен проект Персиньи, который постоянно был ближайшим из друзей Наполеона III и вполне достоин этой неизменной дружбы своею преданностью пользам императора французов. Нет никакого сом-

нения, что его проект явился следствием бесед с императором французов.

Двойственность наружных действий Франции, возникающая из особенности отношений нынешней системы к состоянию общественного мнения, усиленным образом отражается на Сардинии, вовлеченной Франциею в такое положение, которому нужно безотлагательное решение. Материальные средства Сардинии не могут долго выносить усилий, требуемых нынешними отношениями. Не только английская биржа оказалась нерасположенною к сардинскому займу, но даже фирма Фульда в Париже не согласилась принять на себя реализацию этого займа, хотя Фульд, будучи министром государства, покровительствующего Сардинии, должен был бы скорее всех других банкиров согласиться на такую услугу. Граф Кавур принужден был для покрытия большей половины займа прибегнуть к добровольной национальной подписке в самой Сардинии. Это удалось, но подписка была не следствием коммерческого расчета, который один служит надежным источником финансовых средств: она была только проявлением энтузиазма, который вообще быстро остывает, а в Сардинии имеет особенности, не совсем безопасные для системы графа Кавура. Сардинские энтузиасты не хотят знать о причинах, принуждающих Францию и Пьемонт медлить объявлением войны, и каждая миролюбивая манифестация Франции раздражает их. Потому граф Кавур принужден опережать иногда своими распоряжениями желания императора французов, компрометировать его дипломатические обороты слишком явным раскрытием общей своей и его непреклонной решимости начать войну. Например, последние нумера полученных нами газет заключают распоряжение о призвании под знамена того разряда сардинских солдат, который, постоянно находясь в отпуску, призывается к службе только перед самым началом военных действий. Этим распоряжением граф Кавур совершенно убил действие, на которое была рассчитана статья «Монитёра» и отставка принца Наполеона. Точно так же компрометируется французская дипломатика тоном сардинских газет, даже находящихся под влиянием туринского министерства. Они прямо говорят, что не придают никакого значения миролюбивым манифестациям Франции, и что война не только неизбежна, но и никак не может быть отсрочена, хотя бы на полгода. Слишком неосторожные союзники раскрывают Европе даже то, о чем для выгоды Франции следовало бы до времени молчать. Например, какой комментарий приложили они к статье «Монитёра»? Вот какой. «Монитёр» говорит, что император французов обещал только помогать Пьемонту в случае нападения от Австрии. Так, сказали сардинские газеты, но что надобно подразумевать под этим? Уже то самое, что австрийцы собрали много войск в Ломбардию, имеют в ней грозные крепости и занимают выгодные стратегические линии, должно счи-

таться нападением. Они грозят Пьемонту, стало быть, Пьемонт, если захочет выбить их из угрожающих позиций, будет только обороняться, а не нападать. Граф Кавур официально сказал, что он сам так думает. Предоставляем читателю решить, до какой степени могло быть приятно для Франции такое истолкование факта, обнародованного ею в доказательство своих миролюбивых намерений. «Мы не хотим нападать, мы только обязались помогать Пьемонту защищаться», — говорит «Монитор». «Если мы нападём на австрийцев, мы будем только защищаться», — объясняет Кавур. Граф Кавур не делал бы таких неприятных для Франции толкований, если бы мог удержаться от них; но он теперь уже не сам идет, — его ведет партия левой стороны, на которую он опирается в туринской палате депутатов. Но и у этих людей, имеющих склонность к республиканству и революционерству, предводители вовсе не лишены политической опытности и наверное понимают всю важность дипломатической уклончивости, которую разоблачают и разрушают; как же они решаются выставлять те стороны дела, которые надобно бы скрывать, по расчету их союзников? Они уже находят, что можно пренебрегать желаниями этих союзников; думают, что уже держат их в своих руках. С половины февраля, несмотря на все миролюбивые манифестации французского правительства, они прямо говорят о Наполеоне III: *Non puo scapparsi* — «он не может ускользнуть из наших рук». Впрочем, одушевлены воинственным жаром и надеются выгод от нынешних отношений к Франции только те итальянские революционеры, у которых энтузиазма более, чем проницательности. Маццини не разделяет их счастливой уверенности и советовал людям своей партии держаться в стороне. Действительно, они уклоняются от воинственных манифестаций и стараются удерживать народ. Такая политика, конечно, основывается не на разговорах с маршалом Пелиссье, если действительно маршал виделся с Маццини: итальянский агитатор в дипломатических соображениях, вероятно, проницательнее храброго генерала. Влиянию Маццини приписывают то, что в Риме строго сохраняется тишина, и римский народ так далек от мысли начинать восстание в настоящее время, что папская полиция почла возможным разрешить празднование карнавала без всех стеснений, которым нужно было подчинять его во все предыдущие десять лет, со времени восстановления папской власти. Маццинисты говорят: «подождем».

Но далеко не все способны к расчетливому терпению. Со всех концов Италии съезжаются в Пьемонт пылкие итальянцы, особенно среднего и высшего сословий, чтобы сражаться за независимость и свободу отечества. Говорят, что в конце февраля в Сардинии было уже до 10.000 таких волонтеров, ожидающих только объявления войны, чтобы стать под знамена. Разумеется, большинство их — ломбардцы. До объявления войны Сардиния,

связанная особенной конвенцией с Австрией, не может принять их в свою службу. Но уже составляются из них два особенные легиона, из которых одним командует Гарибальди, так храбро защищавший Рим. Много рассказывают анекдотов о самоотверженности, с какою эти благородные мечтатели идут в Турин, воображая, что дело сардинской армии — дело Италии. Мы приведем только один такой анекдот. Герцогство Пармское издавна занято австрийцами, хотя герцогиня, говорят, вовсе не довольна таким покровительством. В конце февраля какой-то офицер, известный герцогине своею преданностью к ее династии, подал в отставку. Герцогиня удивилась и пригласила его к себе для объяснения. «Как, вы покидаете нас при настоящих обстоятельствах?» сказала она. — «Ваше высочество, мои чувства не изменились; но выше вас для меня — Италия; я принадлежу ей, не гневайтесь на меня. Я еду в Турин, снимаю мои эполеты и поступаю рядовым солдатом в корпус волонтеров, который теперь организуется там». Прибавляют, что сама герцогиня, тронутая его энтузиазмом, не нашла возражений против этого. Корреспондент *Indépendance Belge*, рассказывающий об этом случае, говорит, что потом должны были распустить целый батальон пармского войска, который весь, с оружием и всею амунициею, хотел перейти в Пьемонт.

Мы думаем, что все эти благородные люди и вместе с ними граф Кавур, патриотизму которого мы также отдаем справедливость, жестоко ошибаются в своих надеждах. Впрочем, мы вовсе не хотим сказать этим, что войны не будет. Напротив, никогда не казалась она столь неизбежною, как теперь. Мы видели истинные причины этой неизбежности; мы видели, что эти причины усиливаются с каждым днем. Шансы столкновений, которые послужат поводами к ее начатию, также увеличиваются с каждым днем. Волнение в Ломбардии растет. Народная манифестация в Милане при погребении молодого графа Дандоло, известного патриота, служит доказательством тому. Даже в мирной Тоскане агитация так сильна, что считают нужным для ее успокоения дать либеральную конституцию. Очищение Рима французскими войсками должно было служить к тому, чтобы вспыхнуло восстание, чтобы римляне пошли против австрийцев, чтобы австрийцы разбили их и пошли преследовать их к Риму и тем нарушили бы недавний трактат и подали бы Пьемонту возможность провозгласить войну под именем собственной обороны. Партия принца Наполеона в Париже непременно ожидала этого, и когда было объявлено, что французы выходят из Рима, она радостно говорила: «наконец-то занавес подымается», *enfin voilà la voile levée*. Но советы Маццини до сих пор удерживали римлян от волнений. Разумеется, такой хранитель кажется для папского правительства не совсем надежным, и пока оно будет в состоянии призвать для своей защиты австрийцев, оно ищет других защитников. Го-

ворят, что оно через Христину, мать испанской королевы, просит прислать в Рим два полка испанцев; Неаполь, говорят, сам предлагал такую услугу, но нынешние неаполитанские войска слишком известны своею отличною организациею и стойкостью в битвах: сам неаполитанский король был бы мало безопасен, если б не было у него швейцарских полков; потому и папское правительство, призывая испанцев, в то же время нанимает швейцарский полк и вербует ирландцев.

Несколько новых фактов произошло в последний месяц и на стороне противников Пьемонта и Франции. Нечего говорить о том, что Австрия усиливает свою армию в Ломбардии. *Constitutionnel*, преднамеренно увеличивая эту цифру в доказательство опасности, угрожающей Пьемонту, с целью предрасположить умы к принятию нападения со стороны Пьемонта за необходимую меру защиты, насчитывает в Италии 177.000 австрийских войск. Но интереснее тот факт, что подтвердились прежние слухи, говорившие, что Австрия не только отлично приготовилась к войне, но и нимало не боится ее, напротив, уверена в ее успехе. Молодой император решительно проникнут воинственностью и жалуется на своих осторожных министров: говорят, если б не советы стариков, он не сделал бы никакой уступки, и война давно бы началась. Впрочем, и осторожные министры высказывают соображения следующего рода: «австрийский император, даже и потеряв несколько битв, даже и потеряв итальянские провинции, все-таки останется австрийским императором; но нельзя сказать того же о влиянии военных неудач на судьбу Наполеона III. Стало быть, риск войны не против нас».

Германия утвердилась в мысли действовать единодушно. Все второстепенные государства соединяются с Пруссиею, которая объявила, что строго исполнит обязанности, лежащие на ней как на члене Германского союза. Если бы не угрожала опасность Рейну, Германский союз, вероятно, не принял бы участия в войне. Но никто не думает, чтобы в случае итальянской войны мог быть сохранен мир на Рейне. Если бы даже французы захотели ограничить театр войны Ломбардо-Венецианским королевством, то каждому очевидно, что это не зависело бы от них.

Пруссия объявила, что действует в совершенном согласии с Англиею, и Западная Европа разделена теперь на два лагеря следующим образом: с одной стороны — Франция, Пьемонт, быть может, Тоскана и либеральная партия во всех остальных итальянских областях; с другой стороны — Австрия, Пруссия, все другие немецкие государства и Англия.

В Англии очень может быть, что на-днях произойдет перемена правительства, и вместо кабинета лорда Дерби явится кабинет Росселя или Пальмерстона, или, как многие предполагают, Росселя и Пальмерстона вместе. Но если бы нынешнее министерство пало и если бы даже — случай самый благоприятный для

французского правительства — главою министерства сделался один лорд Пальмерстон без Росселя, все-таки во внешней политике Англии не произошло бы перемены, благоприятной для Франции. Сам Пальмерстон теперь далеко не тех мыслей, какие, по уверению приверженцев французского правительства, высказывал прошлою осенью, когда гостил у Наполеона III в Компьене. После своего падения Пальмерстон вздумал держаться правила «чем ушибся, тем лечись». Он был низвергнут за излишнюю дружбу с императором французов и долго думал потом снова войти в кабинет, опираясь на эту дружбу. Его партизаны уверяли, что только он один в состоянии поддержать дружбу Франции с Англией, и носились слухи о разных интригах со стороны Франции в Лондоне для возвращения власти лорду Пальмерстону. Они не удались, и тогда он был приглашен для дальнейших совещаний в Компьень под предлогом охоты, которую он до сих пор очень любит. Император французов встретил его с таким почтением, как встретил бы одного из сильнейших государей Европы, и могущественный лорд держал себя так непринужденно, как бы хозяин был чуть ли не его вассалом. Известен анекдот о красной куртке. Однажды была устроена охота в костюмах какой-то старинной французской эпохи. Но лорд Пальмерстон явился в красной куртке, напоминавшей своим цветом мундир английского солдата, не обращая внимания на распоряжения церемониймейстера. Погода была ненастная. Кто-то выразил опасение, чтобы благородный гость не простудился в своем легком платье. «Не бойтесь, — отвечал крепкий старик, — это сукно хорошее. Под Ватерлоо какой шел дождь, однако ж, оно выдержало». Кому простили бы подобную выходку? Но с лордом Пальмерстоном были до крайности любезны. Теперь оказывается, что любезность была не даром: полгода тому назад главою оппозиции был Пальмерстон; партия министерства была и тогда, как теперь, в меньшинстве; лорд Дерби держался только помощью Робака и Брайта: стоило примириться с ними Пальмерстону, лорд Дерби был бы низвергнут, главою министерства сделался бы Пальмерстон. Незадолго перед приездом его в Компьень Наполеон III виделся с Кавуром (в начале сентября), и тогда уже был решен брак принца Наполеона и принцессы Клотильды, был составлен союз для завоевания Ломбардии. Оставалось только обеспечить себе разрешение на это дело от Англии, т. е. от Пальмерстона, имевшего полную вероятность сделаться первым министром не нынче — завтра. Действительно, лорд Пальмерстон сказал, что не имеет ничего против изгнания австрийцев из Италии. Тогда-то, говорят, император французов окончательно задумал войну и немедленно начал приготовления к ней, которые предполагал он кончить к апрелю месяцу. В таких надеждах на лорда Пальмерстона была сделана сцена нового года австрийскому посланнику. Можно представить себе удивление и негодование в Париже, когда теле-

граф 3 февраля принес речь Пальмерстона об итальянском вопросе в первом заседании палаты общин. Пальмерстон, которого предполагали обещающим свое содействие, говорит, что нельзя допустить нарушение трактатов, что Англия должна быть против той державы, которая отважилась бы нарушить мир Европы; что не только помогать ей, но даже и сохранить нейтралитет Англия не может, если французы вторгнутся в австрийские владения. Вот что писали из Парижа вскоре после этого разочарования. Мы буквально приводим слова корреспондента газеты *Manchester Guardian*.

«Вы, может быть, улыбнетесь, узнав, что здешний придворный мир в неописанной ярости против лорда Пальмерстона, на которого благоугодно ему сваливать всецелую вину за все происшедшее. Эти люди (и сам император) неистощимы теперь в брани на великого оратора, и распространяемые ими изобретения очень занимательны. Они утверждают, что уверения, данные лордом Пальмерстоном императору во время комьеньского свидания, были истинною причиною того, что произошло теперь. Они утверждают, что он жарче, нежели кто-нибудь, говорил о надобности изгнать австрийцев из Италии, и что он совершенно обманул Наполеона III. Они не могут простить ему его речи, и теперь нет такого бранного слова, которого бы они не прилагали к человеку, месяц тому назад провозглашавшемуся от них за идеал европейского государственного мужа».

Неужели лорд Пальмерстон в самом деле обманул, оказался изменником? Мы не имеем к нему особенной симпатии, свидетельством тому характеристика его в январском обзоре и те слова, которые найдет читатель несколькими страницами дальше в этой статье. Но надобно сказать, что в итальянском деле лорд Пальмерстон едва ли мог и хотел обманывать. А что себе он не изменил, это доказывается самою его речью 3 февраля. В ней он говорит, что пламенно желает освобождения Ломбардо-Венецианских областей от австрийцев, и даже прибавляет, что потеря этих провинций была бы выгодна для самой Австрии. Значит, он не изменил своим комьеньским словам. В чем же дело? Лорд Пальмерстон в Комьене, конечно, говорил об изгнании австрийцев, предполагая освобождение занимаемых ими областей, предполагая, что изгнание совершится или самими итальянцами, или союзом Франции с Англиею, которая не дозволит этому делу обратиться в простую замену одного иностранного господства другим. Разумеется, когда дело было начато без согласия и участия Англии, следовательно, не в таких видах, на которые мог соглашаться Пальмерстон, ему по необходимости пришлось смотреть на это дело иначе. Странно тут только одно: каким образом можно было предполагать, чтобы англичанин, и притом, каковы бы ни были недостатки его характера и его убеждений, все-таки честный человек, стал при данных обстоятельствах действовать в том смысле, какого ожидали? Тут объяснение ошибки только одно: люди очень расчетливые, но привыкшие думать очень дурно о челове-

ческом характере вообще, понимают иногда невинные слова в низком смысле. Эта особенного рода наивность иногда вводит их в такое же заблуждение и потом разочарование, как наивность благородства бывает причиною ошибок идеалистов. Субъективная точка зрения, какова бы она ни была по своему нравственному характеру, вообще ведет к ошибкам.

Едва ли не разрушается и другое предположение, на котором основывалась решимость, принятая в Компьене, — предположение, что лорд Пальмерстон будет главою оппозиции в то время, когда падет кабинет Дерби. Пальмерстон не менее Дерби противился бы нынешним французским планам, но все-таки он гораздо более расположен к мягкости относительно императора французов, нежели лорд Россель; а теперь дела оборачиваются так, что Россель близок к приобретению прежнего своего положения, из которого на время был вытеснен Пальмерстоном. По вопросу о парламентской реформе прежний глава вигов успел захватить и до сих пор сохраняет первенство над Пальмерстоном. Через несколько дней мы узнаем, успеет ли Пальмерстон сделаться решителем битвы в нижней палате, или замысловатый план действий, им придуманный, действительно окажется неудачным, каким кажется теперь; но до сих пор лорд Россель берет над ним явное преимущество. Таким образом, вопрос о реформе связывается с переменою прежних отношений между предводителями либерального большинства, и такое или иное его решение может иметь влияние на ход общих вопросов европейской политики. Кроме этого интереса, в нем раскрылась еще другая сторона, занимательная не для одной Англии, а для целой Западной Европы: он послужил очень верным испытанием того, можно ли надеяться на успешное ведение исторических задач людьми, уверяющими, что, несмотря на старомодность своих принципов, они серьезно хотят улучшений. Тори, бывшие столь щедрыми на либеральные обещания, превосходно выказали свою существенную натуру в этом деле.

Тори давно распускали слухи о своих превосходных качествах и намерениях. Прежде торийская партия действительно была враждебна прогрессу, беспрестанно твердил д'Израэли, но теперь мы уже вовсе не таковы, какими были прежде. Поддерживать злоупотребления, угнетать народ, — как это можно! В наше время стыдно и верить таким глупым обвинениям. Напротив, мы теперь стали самыми искренними друзьями народа. Пусть только он не слушает злонамеренных либералов, а верит нам. Мы одни — искренние друзья его. Мы можем и хотим сделать для него гораздо больше, нежели все эти пустые либералы и совокорыстные демагоги.

Вот, наконец, пришло время оправдать такие уверения. Злонамеренные радикалы, думающие только о своих выгодах, об удовлетворении своему честолюбию и тщеславию, подняли воп-

рос о реформе, и торийский кабинет должен был составить проект этого улучшения. Мы уже видели, с какою готовностью принялся он за это дело, как хотел оттянуть его на целый год и вместо того выиграл отсрочку на две недели, выставив в самом ярком свете свой настоящий характер. Но нет, это дело еще далеко не всех вразумило. Было известно, что д'Израэли, истинный представитель нынешнего торизма, давно, еще в декабре приготовил билль, но что некоторым из второстепенных членов кабинета он казался слишком либерален, и представление его в палату общин замедлилось именно с той целью, чтобы образумить этих отсталых людей. Об основаниях билля были распущены самые благоприятные слухи: говорили, что он чуть ли не превосходит либеральностью билль Брайта, который будто бы совершенно доволен им, находится в самых приятных отношениях к министерству и чуть ли не приглашается на совещания к Дерби, д'Израэли и Стенли. Вот приблизилось и 28 февраля, день представления билля в парламент. Накануне было объявлено, что двое из министров, бывшие в кабинете представителями сельских сквайров, т. е. самых отсталых тори, вышли в отставку, потому что не одобряют билль. Стало быть, предрассудкам отсталых людей не сделано никакой уступки, правительство непоколебимо удержало свои либеральные основания. Вот теперь-то Англия увидит, что консерваторы лучше понимают и ревностнее исполняют народные желания, нежели эти самохвалы-радикалы. Но — нечего ждать до завтра — они сами поспешили скорее познакомить публику с своим прекрасным произведением: они предварительно сообщили основания своего билля газете Times, она изложила их в подробной статье в том же номере, который извещал об удалении отсталых министров. Позвольте, однако, что ж это такое? Судя по изложению Times'a, билль не слишком хорошо соответствует народным ожиданиям. Тут что-нибудь не так. Вероятно, газета не умела понять или искажала мысли торийского кабинета. Нет, лучше подождать до завтра. Вот завтра мистер д'Израэли вносит билль и говорит очень ловкую речь, продолжающуюся около четырех часов. В ней изложено все содержание билля, объяснены его достоинства, доказано, что лучшего ничего и сделать невозможно. В чем же сущность этого прекрасного произведения? Ценз в графствах понижается с 50 ф. на десять, сравниваясь с городским цензом. Прекрасно; но это было уже предложено Лог-Кингом и палата общин, приняв его предложение, уже решила, чтобы это понижение было одним из оснований каждого билля о реформе. Но что предлагает правительство для городов, относительно которых оно не связано решениями палаты? Тут перемен нет никаких. Остается прежний ценз в 10 ф. Но чрезвычайно большое достоинство придает мистер д'Израэли своему предложению ввести в дополнение к квартирному цензу профессиональный ценз: священники, медики, адвокаты и люди других ученых

званий должны иметь голос, хотя бы и не занимали квартиру в 10 ф.; хорошо, но много ли найдется медиков или адвокатов, которые занимают квартиру ценою менее 5 руб. сер. в месяц? Кроме того, получают право голоса все имеющие более нежели на 60 ф. капитала в акциях Ост-Индской компании или в сохранных кассах; и это хорошо, но многие ли из акционеров Ост-Индской компании занимают квартиры менее 10 ф.? Все эти уступки касаются только немногочисленных, отдельных лиц; что же сделано вообще в пользу городских классов, не имевших до сих пор права голоса? Вообще не сделано ничего. Нет, этого нельзя сказать: прежде городские жители, владевшие не зависимыми от феодальных отношений участками земли в 40 шиллингов дохода, имели, как поземельные собственники, голос на выборах в графствах. Теперь они лишаются этого права: если они не занимают в городе квартиру в 10 ф., они остаются вовсе без голоса. Число таких людей более 100 тысяч. В этой оригинальной черте виден истинный смысл торийской реформы: тори хотят удалить от деревенских выборов всех самостоятельных людей, мешавших иногда полновластному лендлордов. Их ревность к истреблению злоупотреблений так велика, что они уничтожают единственное противодействие, которое мешало безграничному произволу нескольких человек над составом большинства палаты общин; они предлагают усилить тот самый факт, который был главною причиною народного недовольствия, увеличить то самое злоупотребление, против которого должна быть направлена реформа. Таково-то расширение избирательного права, ими придуманное: оно состоит в том, чтобы отнять право голоса более чем у 100.000 независимых людей. А как пышны были слухи, распускавшиеся об этой части билля! Не менее привлекательны были слухи и о другом важном условии реформы — о введении баллотировки. Говорили, что министерство предлагает вводить баллотировку во всех тех округах, где согласятся на нее две трети избирателей: какой либерализм! Некоторые люди против баллотировки, — пусть их подают голоса открытым образом, через записку в реестр; но повсюду огромное большинство требует баллотировки, — пусть оно распоряжается, как ему кажется лучше. Стеснения нет никому, вопрос отдается на добрую волю каждого, а между тем цель реформы достигается вполне, потому что повсюду, где независимые избиратели составляют большинство, они введут баллотировку. Как же оправдались эти слухи? Билль решительно отвергает баллотировку — это правда; но зато он предлагает нечто гораздо лучшее: тот избиратель, которому далеко или которому некогда идти в избирательную контору записывать свое имя в реестре, может присылать формальную бумагу с объявлением, за какого кандидата подает он голос; не правда ли, независимость голоса ограждается этим вполне? Удивительное умение удовлетворить потребностям нации! Но как ни высоки понятия о прогрессивности торийской пар-

тии, внушаемые этими двумя частями билля, третья часть, касающаяся распределения депутатов, еще гораздо превосходнее всех предположений, какие можно составить о ней по двум первым частям. Существует до 150 ничтожных городков, посылающих в парламент до 250 депутатов, между тем как все громадные города, в которых живет более половины английского населения, не имеют и пятой части этого числа представителей. Отстранение этой нелепости, распределение депутатов, хотя сколько-нибудь соответствующее распределению населения, — в этом самое настоятельное требование здравого смысла и огромного большинства нации. Что же предлагает торийский билль? Скрепя сердце, он берет по одному из двух депутатов от 15 городков и отдает эти 15 мест тем из новых больших городов, которые не имели до сих пор ни одного представителя. Он так заботлив об этих маленьких запустелых городках, что ни одного из них не лишает представительства в парламенте. И если несчастные 15 городков, подвергающиеся удару, будут иметь вместо двух депутатов только по одному, что ж делать? — прогресс имеет свои суровые требования, а торийское министерство так искренно и горячо служит прогрессу.

Сам д'Израэли очень хорошо понимал степень ответственности своего билля с настроением умов, и его речь была мастерским произведением по мягкой изворотливости и благодушному смирению, с которым он оправдывал и извинял предлагаемый билль. При каждом слове он должен был думать о том, как бы увернуться от опасности раздражить большинство палаты, и исполнил эту трудную задачу с удивительным искусством. За это мастерство в нескольких местах ему аплодировали, но именно только за мастерство затруднительного изложения. Негодование за содержание речи сильным образом было выражено всеми представителями либеральных партий, особенно лордом Росселем, Робакком и Брайтом. «Это не реформа, это пародия над реформой», говорили они один за другим. «Предлагать такой билль, значит смеяться над требованиями времени, значит оскорблять нацию». Робак, говоря от имени реформеров, объявил, что министерство, изменившее условиям поддержки, которой пользовалось от них, поплатится за это своим существованием:

«Мы давали поддержку достопочтенному джентльмену (д'Израэли) и его друзьям, — сказал он, — полагая, что они поймут свое положение и положение страны; что они употребят ту свою власть, которая держалась нашей помощью, на хорошее управление страной. Но вместо благородного и либерального образа действий, которого я ожидал от правительства, оно теперь вносит билль для увеличения силы джентльменов своей партии (тори кричат: нет, нет!). Достопочтенный джентльмен думал только о друзьях, сидящих позади его; он не подумал о тех, кем он и его друзья держатся на своих местах (тори кричат: о, о!...). Я говорю прямо: достопочтенный джентльмен знает не хуже моего, что он держался в настоящем своем положении только великодушною помощью, какую получал от нас, и, рассматривая билль, изложенный досто-

почтенным джентльменом, я громко говорю, что на каждом шагу своего пути через палату общин этот билль должен встречать оппозицию, упорную оппозицию от каждого друга народа в этой палате (аплодисменты)».

В приложениях мы сообщаем отрывки из речей Росселя, Робака и Брайта, для того чтобы читатель мог подробнее видеть отношения парламентских партий по вопросу о реформе.

В тот день оставалось еще объяснение или извинение нелепости билля Дерби: что ж было делать бедному лорду и его голове, т. е. мистеру д'Израэли? Быть может, они одушевлены самыми хорошими намерениями, но их товарищи по кабинету, представители отсталых провинциалов, деревенских сквайров, составляющих основу торийской партии, не понимали требований времени; люди просвещенные и прогрессивные, д'Израэли и Дерби, по рукам и по ногам связаны этими дикарями, которым уже и нынешний билль кажется слишком прогрессивен. Ведь вот уже и так вышли в отставку двое министров, Генли и Вальполь, бывшие в кабинете представителями деревенских сквайров; эти невежественные люди, эти тупые обскуранты были причиной неудовлетворительного характера билля. Как жаль, что такие прогрессивные люди, как Дерби и д'Израэли, должны сообразоваться с нелепыми понятиями этих дубоголовых джентльменов, с которыми, к несчастью, должны поддерживать дружбу! Конечно, против такого рассуждения довольно натурально представляется вопрос: какая же необходимость прогрессивным и просвещенным людям, лорду Дерби и мистеру д'Израэли, водить дружбу непременно с сословием деревенских сквайров, которых они называют обскурантами, исполненными предрассудков? Разве свет клином сошелся? Разве нет в Англии других людей, на которых могут опираться просвещенные государственные мужи? Разве лорд Дерби и мистер д'Израэли крепостные холопы этих господ? Разве не по доброй воле нянчатся они с ними, угождают им? Или Англии нет спасения без деревенских сквайров? Разве к Англии не прилагается поговорка: «Скажи мне, с кем ты водишь дружбу, я буду знать, каков ты сам?» Если вы, милорд и мистер, остаетесь в близких отношениях с обскурантами, с невеждами, исполненными нелепых сословных предрассудков, если вы опираетесь на них, значит, у вас самих лежит к тому сердце — вот что можно было сказать на извинение нелепости поступков предрассудками людей, с которыми будто бы нельзя ссориться, на которых будто бы необходимо опираться. Из 28 миллионов жителей Соединенного Великобританско-Ирландского королевства 27 с половиною миллионов аплодировали бы и благословляли бы правительство, если бы оно вздумало не побояться огорчить этих сквайров, перед которыми трепещет. Ведь эти сквайры — незаметная горсть в массе английского населения. Кто же виноват, если желание этой горсти людей, если ее одобрение кажется лорду Дерби и мистеру д'Израэли драгоценнее любви английского народа? Кто виноват,

если эта горсть людей заслоняет от них целую Англию? Что тут говорить, — лорд Дерби и мистер д'Израэли одержимы галлюцинацией, у них повреждено зрение, у них поврежден мозг, вот что говорили английские газеты в то утро, которое следовало за представлением билля.

Но вот наступает вечер, и снова заседает палата общин, и встают один за другим мистер Вальполь и мистер Генли, оставшие министры, представители обскурантов, связывавшие прогрессивное министерство лорда Дерби и мистера д'Израэли. Они объясняют, почему именно вышли в отставку, чем именно были недовольны в билле лорда Дерби. Оба говорят одно и то же: «Мы не хотели, чтобы для городов и для графств был одинаковый ценз; для графств приняли ценз в 10 ф. До сих пор всегда ценз в графствах был выше ценза в городах. Теперь эта основная черта английского устройства стирается. Мы на это не могли согласиться. Какой ценз будет в городах, это нам все равно; но он должен быть непременно ниже ценза, принимаемого в графствах». Это говорят они оба. Мистер Генли делает прибавку такого рода: «Я думаю только о графствах. Как устроятся города, до этого мне нет дела. Вводите в них, пожалуй, хоть всеобщую подачу голосов, я об этом не забочусь. Мне нужно только одно, — чтобы ценз в городах был ниже ценза в графствах». Мистер Вальполь не разделяет этого совершенного равнодушия к устройству избирательного права в городах. Он говорит: «чтобы не сглаживать различия между графствами и городами, я предлагал понизить ценз в городах до 5 ф.», т. е. до такой границы, при которой несколько сот тысяч людей рабочего сословия вошли бы в число избирателей.

Так вот они — обскуранты! Так вот что противопоставляли они просвещенным прогрессистам Дерби и д'Израэли! Они — люди с предрассудками, это — правда: им непременно нужно, чтобы оставалась разница между городами и графствами, как было в старину. Но как легко было удовлетворить этому предрассудку! Он так невинен, что сам Брайт не хотел его опасаться: в проекте предводителя реформеров также была сохранена разница по цензу между городами и графствами. Зато, при удовлетворении этому наивному желанию, как легко было склонить обоих представителей деревенской отсталости на такое понижение ценза в городах, которое бы удовлетворило общественному мнению! Да чего склонять их?.. Один сам требует такого понижения; другой говорит: «делайте, как хотите». Если бы только захотели Дерби и д'Израэли, они легко могли бы согласить предрассудки этой отсталой деревенщины с потребностями времени в одном из главных пунктов вопроса о реформе. Конечно, так же легко было бы им, если бы только они сами хотели, убедить массу своей партии на отнятие у запустевших городков не 15, а 50 или 60 депутатов, и тогда, по всей вероятности, их билль прошел бы; но они

сами были, как видно из объяснений Генли и Вальполя, дальше от сочувствия потребностям времени, нежели простодушные люди, на которых сваливают они вину. Да и как быть иными людям, опирающимся на торийскую партию? Сельские джентльмены исполнены предрассудков — это правда; но предрассудки сохранились у них инстинктивные, всосанные с молоком матери, наивные, натуральные, бессознательные. Сельские джентльмены занимают в английском обществе вредное положение — и это правда; но ведь не они сами добровольно избрали такое положение: они родились и выросли в нем; оно досталось им по наследству, без участия их воли. Кому бог не привел получить образование, кому бог не привел иметь отцом и матерью людей, не вредивших обществу, тот может и при невежестве, и при вредных сословных предрассудках оставаться в душе человеком честным, добросовестным и доброжелательным. Только растолкуйте ему, что вы можете улучшить положение общества, не обижая его без надобности, он согласится на улучшение; только растолкуйте ему, что добросовестность требует некоторых перемен в общественном устройстве, он согласится на перемены. Между его товарищами по положению и по предрассудкам могут даже найтись многие такие, которые сами с радостью будут содействовать полезным для общества переменам, если только вразумятся, что перемена производится не из вражды к ним, а из желания пользы другим, гораздо более многочисленным людям и целому государству. Как бы ни было вредно для общества положение, занимаемое каким-нибудь сословием, как бы ни было исполнено нелепых и вредных предрассудков это сословие, все-таки огромное большинство его, как и огромное большинство всех других сословий, состоит из людей добрых и хороших. Но не таковы люди, основывающие свою карьеру на предрассудках других и на вредных сторонах существующего порядка дел. Они держатся предрассудков и злоупотреблений не по наивности, не по незнанию, как те темные люди, которые находят в них предводителей своим страстям, защитников своим предрассудкам. Таким человеком, по расчету основавшим свою карьеру на предрассудках и злоупотреблениях, мы считаем мистера д'Израэли, истинного руководителя торийской партии. В нем не ищите ни наивности, ни незнания. Он не хуже любого хартиста понимает, во что обходится обществу политическое преобладание лендлордов; он может быть не меньше Диккенса хохочет в душе над дикими предубеждениями сельских сквайров; но он рассчитал, что между этими сквайрами мало людей умных и образованных, что он явится звездой между ними, если войдет в их ряды. Между реформерами сделаться одним из первых людей не так легко, — даже между парламентскими деятелями сколько великих талантов имеют они: Робак, Мильнер, Джибсон, Брайт, Кобден и мало ли других. Среди таких людей трудно отличиться. Да и какие выгоды могут они дать? Им да-

леко до того, чтобы быть канцлерами казначейства. Вот тори — другое дело! Тут истинное безрыбье, на котором и рак будет рыбой, и мистер д'Израэли несравненным гением, — они будут нянчить его, они выведут его в люди. Ведь у них великая скудость в умных и образованных людях, которые умели бы говорить человеческим языком. А поднять могут они очень быстро и высоко, — ведь на половину годов бывает таких годов, в которые они составляют министерство. «Умные люди, образованные люди! Пожалуйте к нам, простякам и невеждам. Вы будете нашими оракулами, мы подделаем из вас своих канцлеров казначейства, своих министров внутренних дел, иностранных дел и всяких других дел и безделий». Умные люди, как и всякие другие люди, большею частью бывают честными людьми, потому почти никто из них не может воспользоваться таким выгодным приглашением. Между умными людьми, как и между всякими другими людьми, попадает иногда человек, думающий, что для совести самое выгодное место — быть под пяткой; вот находится такой человек и наверное не замедлит оказаться, например, канцлером казначейства в министерстве лорда Дерби, достопочтенным мистером д'Израэли. А не прячь совесть под пятку, не защищай того, над чем смеешься, не превозноси тех, кого презираешь, не покровительствуй тому, вред чего понимаешь, — и не оказался бы ты ничем; оставался бы довольно незаметен между множеством таких же умных, как ты, людей, остающихся честными, и затмевался бы подобно им многими честными гениальными людьми, над нерасчетливостью которых ты имеешь теперь полное право издеваться и которых, при аплодисменте одурачиваемых тобою простяков, ты поносишь как врагов «счастливой английской конституции», врагов общества, врагов неба и земли, на которой ты славно устроил свои делишки, о котором ты очень редко думаешь, да и то с усмешкой, хотя говоришь очень часто с слезами умиления.

Все это хорошо, — то есть для мистера д'Израэли; но дурно для консервативных принципов, защищаемых мистером д'Израэли, то, что мистеры д'Израэли, привыкши хитрить и лицемерить, забывают нехитрую истину, понятную даже недалеким людям, выдавшим вблизи исторические события, присматривавшимся вблизи к общественной жизни: хитрость и лицемерие — это мелочные пружинки, которыми можно изворачиваться с успехом только в мелочных делишках личной выгоды; общественными силами эти годные для личных целей средства сделаться не могут, потому что огромное большинство общества честно и прямодушно, а от того и ход общественных дел,двигаемый качествами общества, ломит всегда напрямки, дурно ли, хорошо ли, назад ли, вперед ли, только всегда по большой столбовой дорожке, на которой все видно, ничего не прикроешь. Думая повести общественные дела теми же средствами, какие пригодны только для личных дел,

эти люди не успевают ничего сделать порядочным образом, не умеют удовлетворить никого, не умеют даже понять никого, потому что слишком привыкли думать только о себе. Себе они могут приобрести и богатство, и почести, но государству не умеют принести ничего, кроме обеднения и унижения. В Англии, где контроль газет и митингов хотя не так действителен, как воображают англоманы, но все-таки не совсем бессилён и очень полезен, нельзя таким людям упражнять над государством свои способности слишком свободно, и чуть-чуть подалее свернут они с дороги, их или вовсе сталкивают, или ворочают на дорогу под уздцы. Государству принести большого вреда — нет им воли там; но зато своей партии часто успевают они удружить так, что любо смотреть: так скомпрометируют темных простяков, выдвинувших их вперед, что бедняки не знают, куда от стыда деваться, а иногда и вовсе загубят их так, что уже никак нельзя бывает поправить дела. Успел ли сочинить над своими бедными тори мистер д'Израэли штуку в размере второго рода и должны ли они ни за что, ни про что потерять министерство, как уверяют газеты, когда могли бы удержаться в нем еще довольно долго, это мы узнаем через несколько дней; но верно теперь то, что осрамил он своим биллем торийскую партию донельзя.

Презрительная досада овладела всею Англиею, когда она поутру 1 марта прочла в газетах основания, предлагаемые для реформы мистером д'Израэли. Кроме одной газеты, принадлежащей министерству (*Morning Herald*), и одной из пальмерстоновских газет (*Manchester Guardian*) и *Times'a*, вздумавшего сообразоваться с тактикою Пальмерстона, о которой расскажем ниже, все другие газеты на чем свет стоит осмеяли хитрый проект с первого же раза. Немедленно стали назначаться во всех больших городах митинги для выражения мнений о министерском проекте, и с каждым днем митинги растут, а решения их — все в одном и том же смысле, которому мы представим несколько примеров. Берем один нумер *Manchester Guardian* 8 марта.

Митинг в Стренджвезе. Мистер Джозеф Джонсон предложил объявить, что министерский билль прискорбно обманывает основательные ожидания нации. Предложение принято единогласно.

Ольдгем. По просьбе со множеством подписей лорд-мэр назначил на завтра митинг для выражения протеста против министерского билля.

Лидс. На митинге единогласно объявлено, что билль, предложенный министерством, должен быть встречен решительной и энергичной оппозицией всех либеральных людей.

Векфильд. После многих частных митингов назначен на завтра общий митинг для совещания о действительнейших мерах противиться министерскому биллю.

Саутемптон, Нордвильвич и Мерильбон. Назначены или происходили такие же митинги.

Демонстрация в Гайд-Парке, в Лондоне. Мистер Ментель предложил моцию: «министерского билля нельзя и называть биллем реформы; это — не билль, а просто срам; нам нужен хороший билль или не нужно

никакого». Принято единодушно среди сильных и продолжительных аплодисментов.

Шеффилд. Мистер Фишер старший предложил следующее решение: «Билль, предложенный министерством, не исправит недостатков нашей представительной системы, а размножит и увеличит их; он возбудит чрезвычайно вредную вражду между жителями деревень и городов. Он не берет депутатов у маленьких зависимых городков, не дает баллотировки, не дает права голоса трудолюбивым и порядочным людям рабочего класса; эти недостатки делают его совершенно несообразным с потребностями нации». Принято единогласно.

Ньюкастль. Мистер Джозеф Кон предложил решение: «По мнению настоящего митинга, министерский проект реформы не удовлетворяет народным потребностям. Митинг считает этот проект оскорбительным для разума, вредным для интересов рабочего сословия английской нации и заслуживающим самой сильной и безусловной оппозиции». Это предложение принято единогласно, а вместе с ним и решение просить королеву об удалении нынешних министров.

Просим читателя заметить, что все эти известия взяты нами только из одного номера газеты, т. е. доставлены только одним днем, и что эта газета держится политики Пальмерстона, который 8 марта еще хотел покровительствовать министерскому биллю, и что, наконец, эта газета провинциальная, оставляющая без особенного внимания те части Соединенного королевства, которые далеки от Манчестера. Были сотни митингов в первой половине марта, и ни на одном из них не было сказано о министерском билле ни одного не только благоприятного, но и снисходительного слова. Все единодушно решали противиться министерскому биллю самым энергическим образом. На каждом митинге он служил предметом самых горьких и презрительных насмешек.

Уступая давлению общественного мнения, две из трех газет, защищавших билль, уже изменили свой тон: Times говорит о билле с едкой иронией и Manchester Guardian вторит Times'у. Единственным защитником билля остается бедный Morning Herald, орган министерства.

К чему же привели все реакционные хитрости, все лицемерные фразы? Только к тому, что изобретатели их сделали предметом насмешки сами, компрометировали ту партию, которую хотели защитить. Быть может, по крайней мере угодили они тем обскурантам, на потворстве которым основывают свою карьеру? Нет, и того они не достигли. Орган фанатических тори — Presse объявляет, что она — против билля. Какая же была выгода угождать этим реакционерам? Они все-таки раздражены, а нация хохочет и негодует.

Но мнение нации и решение парламента — две различные вещи, очень часто нимало несходные при нынешней системе выборов и нынешнем распределении депутатов. Каков же ход дела в палате общин? Реформеры — против министерского билля, это не требует объяснений. Из двух предводителей вигистской партии лорд Россель, как мы видим, немедленно по внесении билля самым решительным образом объявил себя против него. Другой

предводитель, лорд Пальмерстон, вздумал следовать политике более хитрой: он промолчал, чтобы в решительную минуту можно было ему присоединиться к той стороне, союза с которой требует его выгода. Соединение Росселя с реформерами показывало, что против билля будет почти ровно половина голосов или даже несколько больше; но все-таки Пальмерстон полагал, что те 70 или 80 голосов, которые следуют за ним, могут по произволу спасти или низвергнуть министерство. Однако ж тактика эта, клонившаяся к тому, чтобы сделаться решителем парламентских прений, оказалась не совсем удачною. Приверженцы лорда Пальмерстона с первого же раза были недовольны тем, что он не высказался против билля. В следующие дни, по мере того как агитация в народе росла, партия Пальмерстона все сильнее убеждалась, что защищать билль значило бы подвергать себя негоднованию нации. По последним известиям, надобно полагать, что пальмерстоновские виги не будут поддерживать торийского билля. Читатель знает, что парламентские партии стараются держать в тайне свой план действий до последней минуты; потому, несмотря на множество известий и предположений о будущей судьбе министерского билля, она еще остается неизвестной: неизвестно, на что решится Пальмерстон; неизвестно, как поступит министерство, если потерпит неудачу, которой надобно ожидать. Надобно только думать, что лорд Пальмерстон думает принять в вопросе о реформе либеральную роль для поправления своей популярности и открытия себе дороги в кабинет.

Удастся ли ему это, мы узнаем через неделю, при втором чтении билля. Но теперь пока видно только то, что излишняя тонкость значительно испортила его парламентское положение. До сих пор предводителем оппозиции был он. Лорд Россель оставался на втором плане; но Пальмерстон промолчал 28 февраля и тем дал лорду Росселю время снова выдвинуться вперед. Предводитель оппозиции теперь лорд Россель. При втором чтении билля мы увидим, удастся ли Пальмерстону отбить у него это место, или надежда быть главою кабинета по низвержении нынешнего министерства положительно отнята у него Росселем.

До сих пор Россель, восстановивший свое прежнее значение речью 28 февраля, действует как предводитель оппозиции. Он созвал к себе, оставляя в тени лорда Пальмерстона, либеральных депутатов всех партий для совещания о единодушном образе действий по вопросу о реформе. Пальмерстоновских вигов тут не было; но кроме депутатов, постоянно шедших за Росселем, явились в собрание все реформеры. Выслушав проект Росселя, они объявили себя готовыми поддерживать его. Таким образом, дела пошли по одной из тех трех дорог, вероятность и значение которых мы объяснили в январском обзоре: реформеры и росселевские виги соединяются под предводительством Росселя против тори. Что бы не стали делать пальмерстоновские виги, судьба

торийского билля уже решена этим соединением: он должен погибнуть.

Но его фактическая гибель, уже несомненная, еще не равнозначительна падению торийского министерства. Чтобы понять эти тонкости, надобно вникнуть в обычаи английского парламента.

Билль, вносимый в палату общин, должен быть прочитан в ней три раза; на каждое чтение требуется согласие палаты. Согласие на первое чтение обозначает только то, что палата хочет заняться предметом, к которому относится билль: тут нет еще вопроса о согласии палаты с духом вносимого в нее проекта. При согласии на второе чтение решается, одобряет ли палата основные принципы билля. Если разрешено второе чтение, палата обращается в комитет для рассмотрения подробностей. Тут предлагаются различные частные поправки (amendment), относящиеся к той или другой статье. После всего этого проект пересматривается комиссией для приведения первоначальных его определений в соответствие с принятыми поправками. Тогда палата, возвратившись к обыкновенной форме заседаний, заслушивает поправленный билль и снова подает голоса об нем. Все вместе это называется вторым чтением билля. Через несколько времени назначается третье чтение, при котором вопрос идет и о принципе, и о всех подробностях билля в том виде, как он вышел из второго чтения. Таким образом, первое чтение — только формальность, дающая палате время приготовиться к подробному обсуждению билля при втором чтении. Зато второе чтение бывает настоящим испытанием предлагаемого закона, и в нем одном находятся три разные момента, из которых на каждом билль может погибнуть: палата может, во-первых, отказать ему в согласии на второе чтение; во-вторых, при комитетском совещании может принять такие поправки, которыми совершенно изменяется характер первоначального проекта; в-третьих, наконец, при общем чтении поправленного билля может отвергнуть его. Если он миновал все эти опасности, то при третьем чтении наступает для него самое решительное испытание: к третьему чтению собираются все депутаты; каждая партия старается явиться на поле битвы в самом полном составе, и тут окончательно оказывается, на чьей стороне большинство палаты, если и при втором чтении оно не оказалось на стороне противников билля.

Ясно, что борьба имеет две различные части. При подаче голосов о первом, втором и третьем чтении билля дело непременно идет начистоту. Не то при поправках; поправка может совершенно изменить первоначальный смысл проекта, заменив смыслом прямо противоположным; а между тем, если билль внесен министерством и если министры более дорожат сохранением своих мест, нежели проведением своих идей, то они могут, заметя, что большинство будет на стороне поправки, объявить, что не придают ей особенной важности и потому согласны на нее. Есть

и другой способ, еще более благовидный и еще менее добросовестный. Если совершенно враждебная прежнему биллю поправка сопровождалась такими резкими речами и предложена от таких непримиримых врагов, что министерство находит возможности притвориться, будто не замечает ее враждебности, оно выставляет против нее другую поправку, которая отличается от предложенной противниками только каким-нибудь пустым словом. Наконец, недавно тори открыли еще третье средство безвредно для своих министерских мест выдерживать самые враждебные перемены в своих биллях. При совещании о своем индийском билле торийское министерство объявило, что этот предмет по своей национальной важности выше несогласий между партиями; что министерство не хочет ничего более как только служить желаниям страны в этом великом деле, и как бы ни было оно решено парламентом, министерство вперед на все согласно. Этот метод называется разрешением вопроса посредством отдельных постановлений об отдельных частях его (*by resolutions*). Тут первоначальный билль должен рассматриваться по объявлению министерства не как проект решения вопроса в известном духе, а просто как указание на подробности вопроса, без желания настаивать на разрешении их именно в таком, а не другом духе.

Читатель видит, что все эти способы не более как хитрые средства говорить «я доволен» в то время, как делают против моего желания. Министерство, прибегающее к ним, навлекает на себя насмешку и презрение, но успевает продлить свое существование, если большинство, ему противное, разделено на партии, еще не успевшие согласиться относительно распределения министерских мест между своими предводителями при низвержении существующего министерства. Не будучи готовы составить новый кабинет, эти партии большинства терпят существование прежнего министерства и показывают вид, будто бы в самом деле верят его объяснению, что оно не принимает во враждебном для себя смысле решений парламента, противных его собственным предложениям. Именно таким образом с первого дня своего существования до нынешнего числа держится торийское министерство. Но, разумеется, все эти увертки — не более как формальность, допускаемая оппозициею по ее несогласию относительно состава нового кабинета. Если же соглашение оппозиционных оттенков будет устроено, тогда никакие извороты не помогут министерству: оппозиция прямо принимает решения, относящиеся не к какому-нибудь закону, а к самому министерству, и предлагает ему удалиться из кабинета. Но до этой невежливости дело редко доходит. Министерству бывает известно, успела ли оппозиция согласиться в составе нового министерства, и если успела, то оно не будет прибегать ни к каким хитростям, зная, что они уже были бы бесполезны, и первое решение палаты, несогласное с каким-

нибудь его предложением, хотя бы по самому пустому вопросу, откровенно истолкует в его настоящем смысле, то есть в смысле приказаania удалиться из кабинета. Читателю известно, что тогда остаются две дороги: министерство или немедленно повинуетя парламенту, или испытывает свое счастье распушением прежнего парламента и созвaniem нового, голосу которого оно уже не может не повиноваться, потому что при выборах предполагался вопрос: довольна ли нация существующим министерством?

Мы излагали все эти подробности парламентской тактики для того, чтобы читателю были ясны отрывочные известия, которые будут приноситься ему газетами. Нынешний обзор наш будет напечатан, вероятно, до решения парламентской судьбы министерского билля о реформе, и мы хотели бы помочь читателю при соображении значения будущих газетных известий по этому важному делу; а теперь мы сообщим то, что уже сделано по нему, чего ожидают в настоящее время, т. е. около 15 марта нового стилиа, и как думают о вероятном исходе борьбы, которая начнется через неделю (21-го числа).

Когда лорд Россель тотчас же по внесении билля д'Израэли высказался против него самым сильным образом, и когда реформеры на собрании, бывшем у лорда Росселя, решились поддерживать старинного предводителя либералов, было решено ими сосредоточить все свои усилия в парламенте на поддержку предложений Росселя, и Брайт объявил в палате общин, что предлагает представление своего билля. Таким образом, события приняли именно тот оборот, который мы предполагали вероятнейшим и объясняли в январской книжке. Мы говорили тогда («Соврем.», Политика, № 1, стр. 123) *: «Билль Брайта не может приобрести голосов ни массы тори, ни массы вигов: он будет слишком прогрессивен для них. Лучшее, на что он может надеяться, — это отделить в свою пользу по двадцати или тридцати прогрессивнейших людей из того и другого лагеря, то есть ни в каком случае не мог бы он иметь у себя более 250 голосов и, вероятно, будет иметь гораздо меньше, может быть, всего с небольшим 150, а для большинства нужно более 300 голосов; следовательно, он будет служить, так сказать, только запросом, только средством поднять цену согласия со стороны независимых либералов, на поддержку билля какой-нибудь другой партии. Итак, серьезным соперником билля Дерби, вероятно, останется только билль Росселя». Мы прибавляли тогда, что реформеры, от присоединения которых к Росселю или к Дерби зависит большинство, вероятно, будут иметь более наклонности действовать вместе с Росселем против Дерби. В продолжение всего февраля носились слухи, противные нашему предположению, но вот теперь и оно оправдано фактом. После этого соединения Брайта с

* См. в этом томе, стр. 46. — *Ред.*

Росселем Дербиде увидана невозможность провести свой билль, но он (то есть д'Израэли) придумал новую хитрость, вовсе не легкую для твердости министерских убеждений, но казавшуюся ему единственным средством, спастись от поражения: узнав о союзе Росселя с Брайтом, д'Израэли объявил, что при втором чтении само министерство предложит в своем билле поправки на принципах более широких. К этому обращению в либеральное исповедание следовало бы прибегнуть еще до представления билля: теперь трогательный либерализм был шуткою несколько запоздалою, и Россель объявил в палате, что при втором чтении билля Дербиде предложит следующее решение: «Палата общин думает, что несправедливо и неблагоприятно (political) поступать по способу, предложенному настоящим биллем, с существующим правом фригольдеров иметь голос в графствах, и что палата и нация не удовлетворятся никаким изменением избирательного права, не вводящим в графствах и городах расширения права голоса в размере более значительном, нежели какой предлагается настоящею мерою». Принятие этой моции, встреченной аплодисментами палаты, в сущности должно равняться отвержению билля Дербиде, потому что она противна обоим важнейшим чертам билля: сохранению десятифунтового ценза в городах и отнятию ценза в графствах у фригольдеров, живущих в городах. Но министерству она оставляет возможность сказать, что ее принятие после предложенных самим министерством поправок не принимает оно за прямое отвержение своего билля, то есть за требование удалиться из кабинета. Но кроме того одним из реформеров будет предложено при втором чтении и прямое отвержение билля. Теперь считают, что это последнее предложение будет принято большинством от 80 до 90 голосов. Надобно, однако же, заметить, что от министерства еще зависит парировать этот удар собственным предложением каких-нибудь очень сильных изменений в первоначальном билле. Очень может быть, что такой маневр останется не совершенно безуспешен. Точно так же лорд Пальмерстон при втором чтении билля, вероятно, сделает какой-нибудь маневр, чтобы возратить себе роль предводителя оппозиции, отнятую у него Росселем. Впрочем, кажется, что по вопросу о реформе это ему не удастся; но, может быть, он приищет какой-нибудь другой вопрос для достижения своей цели.

Итак, около 15 марта нового стиля положение дел было следующее: министерскому биллю предстояло или быть отвергнутым, или получить от поправок характер, совершенно противный его прежнему духу; во втором случае торийское министерство полагает объявить, что оно не принимает этих поправок за враждебные ему. В первом случае, по правильным парламентским обычаям, оно должно было бы или выйти в отставку, или распустить парламент. Но при нынешнем распадении вигов на две партии (Росселя и Пальмерстона) и при отдельном существова-

нии независимой от них партии реформеров может встретиться невозможность к составлению вигистского министерства, и в таком случае тори успеют удержаться в министерстве. Этот шанс много зависит от Пальмерстона: повидимому, Росселю трудно будет составить министерство без содействия Пальмерстона. Примириться этим двум соперникам, прежним друзьям, получившим друг от друга страшные удары, очень трудно; но, судя по газетным слухам, надобно полагать, что переговоры о примирении ведутся. Основанием их служит, повидимому, то, что партия Пальмерстона требует у своего предводителя, чтобы он принес свое личное неудовольствие на Росселя в жертву общей выгоде вигов. На-днях мы увидим, исполнятся ли ожидания газет, предсказывающих примирение; а пока скажем только, что около 15 марта, то есть за неделю до решения дел, предполагали, что Россель, опираясь на реформеров, чувствует себя довольно сильным составить министерство и без содействия Пальмерстона. Разумеется, все отношения могли совершенно измениться в следующие дни, оставшиеся до 21 числа.

Между тем как восточный остров Ирландско-Великобританского королевства занят был этими прениями о реформе и различными ее шансами, в одном из портовых городов западного острова случилось дело, возбуждавшее общее внимание даже среди всех забот о реформе и слухов о войне. В гавань Квинстона прибыл 6 марта американский корабль с неожиданными гостями, и газета *Cork Examiner* рассказала о нем следующие интересные вещи.

«Сильное впечатление было произведено в Квинстоне прибытием американского корабля «*David Steward*», на котором были знаменитый Поэрио и его спутники, недавно выпущенные из неаполитанских темниц. Помилованные их сопровождалось изгнанием, и, перевезенные в Испанию, они должны были быть отправлены в Америку. Неаполитанский корабль привез их в Кадикс, оттуда «*David Steward*» нанят был перевезти их в Нью-Йорк. Всех изгнанников 69 человек, в том числе жена и двое детей изгнанника Маццео. 19 февраля они были посажены на этот корабль. Для 44 человек нашлись первоклассные каюты; остальные были помещены во вторых местах. По отплытии из Кадикса «*David Steward*» плыл около 200 миль под надзором «*Стромболи*», неаполитанского военного парохода. Потом пароход удалился, оставив корабль при попутном ветре по дороге в Америку. Но едва корабль очутился в безопасности от пушек парохода, все изгнанники явились к капитану, протестовали против своего отправления в Америку и потребовали, чтобы их отвезли в какую-нибудь английскую гавань. Капитан, оставивший третью часть платы за перевоз обеспечением в исполнении контракта, отвечал, что не может нарушить его. Они, повидимому, убедились его доводами и успокоились на тот день; но поутру возобновили свое требование более решительным тоном. Тут произошел случай романтического характера: в Кадиксе нанялся служить на корабль молодой итальянец Раффаэлли Сеттембрини. До сих пор он исполнял работу наравне с другими матросами; но когда пассажиры пришли во второй раз к капитану, он явился в костюме помощника штурмана галлюэзских пароходов: в изящной синей блузе с золотыми пуговицами и золотым околышем на шляпе. Действительно, он служил помощником штурмана в галлюэзской пароходной компании. Оказалось, что он сын одного из важнейших изгнанников, Луиджи Сеттембрини. Услышав

о том, на каких условиях выпущены из темницы его отец, он отправился в Испанию и, чтобы находиться вместе с отцом, придумал хитрость, о которой мы рассказали. Капитан корабля думает, что цель у него была важнее, нежели простое желание увидеть отца. Капитан думает, что он был отправлен лондонским итальянским обществом, чтобы помочь изгнанникам сделать то, что они сделали. Как бы то ни было, но его присутствие придало новую настойчивость требованию пассажиров. Они сказали, что у них теперь есть моряк, и что если бы им пришлось отнять управление кораблем у капитана и экипажа, то они могут плыть без их помощи. Они представили капитану, что находятся в море уже целых два месяца, что многие из них — старики, что здоровье всех их более или менее ослаблено десятилетним заключением, и потому долгое плавание было бы пыткой для всех их и может быть смертью для некоторых. Они утверждали также, что, будучи под американским флагом, они — свободные люди, и что он не имеет права везти туда, куда они не хотят. Эти аргументы подкреплялись превосходством по физической силе, — изгнанников было 66 человек мужчин, а экипаж состоял только из 17, потому капитан уступил и направил корабль на север. Пассажиры обращались с ним ласково, но поставили над ним надзор, чтобы он не свернул корабля с направления к гавани, в которую они хотели плыть. Они направились в Корк, но несколько ошиблись в направлении и через 14 дней прибыли в Квинстон. Тотчас же они сошли на берег с выражением живейшего восторга от мысли, что теперь свобода их ненарушима. Некоторые из них целовали землю, на которой стали свободными людьми.

«Прибытие пассажиров в Квинстон — дело обыкновенное, не возбуждающее никакого внимания. Но весть о прибытии этих пассажиров разнеслась чрезвычайно быстро, и они стали предметом заботливейшего внимания. Некоторые из них говорят, что от длительного заключения зрение у них ослабело. В продолжение путешествия Поэрио, здоровье которого очень расстроено, каждый день вставал с постели, чтобы просидеть несколько часов на палубе. Ему 55 лет, но на вид он кажется старше. Он невысокого роста и плотного сложения».

Изгнанники были встречены в Ирландии и в Англии с энтузиазмом. «Наши американские братья, приготовлявшие почести для Поэрио и его спутников, будут завидовать нам, что прием этих гостей достался на нашу долю», восклицают английские газеты. Составился комитет для открытия национальной подписки в честь новоприбывших. Первые государственные люди всех партий поставили за славу себе руководить этим делом. Президентом комитета выбран лорд Шефтсбери; лорд Пальмерстон, лорд Россель, Мильнер-Джибсон, Гледстон, лорд Гренвилль, лорд Лендсдон, лорд Дергем, лорд епископ лондонский, лорд Линдгерст находятся в числе членов комитета.

Поэрио и его товарищи были брошены в темницы вследствие события 1848 года; но ни Поэрио, ни Сеттембрини, ни большая часть других изгнанников, прибывших теперь в Англию, нисколько не участвовали в революционных движениях, вынудивших у Фердинанда II согласие на конституцию. Они только пользовались популярностью, и потому сам король почел нужным обратиться к ним, когда вследствие разных обстоятельств исчезло доверие к нему и он почел себя находящимся в опасности. Он сам просил Поэрио и других принять управление делами, чтобы спасти ему жизнь и престол. Вскоре потом обстоятельства изменились. Фер-

динанд II почел возможным обойтись без их помощи и уничтожить конституцию. Если бы Поэрио и его товарищи могли полагать, что чем-нибудь заслужили его гнев, они имели довольно времени уехать из Неаполя. Но они полагали, что Фердинанд II, хотя и нашел полезным возвратиться к прежнему принципу управления, смотрит на них, своих бывших министров, как на людей, которым должен быть признателен за помощь в трудные для него времена. Такая мысль была заблуждением излишней самонадеянности. Фердинанд II думал о них совершенно иначе, и нельзя не согласиться, что с своей точки зрения он поступил совершенно основательно, решившись наказать их за либеральные мнения. Правда, они не сделали ничего преступного; но самый образ их понятий был преступен по неаполитанским законам, восстановленным по усмирении революции. Правда, они не были революционерами; но революционеры доверяли им, когда они были призваны к управлению делами. Безнаказанность таких людей, конечно, была бы противна прочности восстановленной системы или, по крайней мере, свидетельствовала бы, что эта система должна щадить своих противников, следовательно, сама не уверена в своих силах. Если бы эти страницы попались на глаза французским, английским, сардинским или немецким либералам, мы подверглись бы от них беспощадному порицанию; но что же делать, надобно говорить то, что думаешь. Нам кажется, что Фердинанд II никак не мог оставить Поэрио и его товарищей безнаказанными. Они были преданы суду; юридических доказательств против них не нашлось. Либералы чрезвычайно горячо кричат о незаконности наказаний при совершенном недостатке доказательств, таком недостатке, что главным документом обвинения служило подложное письмо, написанное по распоряжению обвинителей каким-то господином, получившим за то денежное вознаграждение. Обвиняемые доказали подложность письма, и генерал-прокурор, бывший обвинителем, признался, что документ действительно фальшивый. Либералы чрезвычайно громко кричат, сказали мы, о незаконности осуждения при таких обстоятельствах; но мы думаем, что в этом, как и во многих других случаях, либералы, останавливаясь на пустых подробностях, упускают из виду сущность дела. Разве не бывает таких процессов, в которых убеждение судей о виновности или невинности подсудимого составляется на основании впечатления, производимого всею его жизнью, его личностью и совокупностью тысячи мелочных фактов, из которых каждый сам по себе не составляет юридического доказательства, но которые все вместе производят нравственное убеждение о его виновности или невинности? Притом нам кажется, что требовать улик против Поэрио значило быть слишком щепетильным формалистом. Каждому было известно, что он не одобряет правительственную систему, которой следовал Фердинанд II до революции и по

укрошении революции; следовательно, он имел образ мыслей, враждебный господствующему порядку; следовательно, он был врагом правительства; следовательно, правительство было бы виновно перед самим собою и перед государством, порядок в котором должно было охранять, если бы оставило безнаказанным своего врага и такую безнаказанностью ободрило бы людей, имеющих вредный образ мыслей. Поэрио и его товарищи могут быть, как частные люди, достойны всякого уважения по благородству характера, по талантам и т. д.; но как враги правительства они основательно могли быть подвергнуты смертной казни. Но правительство смягчило это наказание, заменив его заключением в крепость. До сих пор мы не видим в этом деле ничего противного основаниям существующего в Неаполе порядка; но дальнейшие действия неаполитанского правительства кажутся нам уже не совершенно благоразумными. Помещение в темницах, отведенное для осужденных преступников, было чрезвычайно дурно: тесно, мрачно, сыро, грязно. Они были содержимы в цепях, содержание им отпускалось чрезвычайно дурное. Вообще, обходились с ними так же сурово, как с какими-нибудь убийцами, пойманными на воровстве. Говоря по строгой правде, и в этом не было ничего собственно несправедливого: по всей вероятности, многие другие заключенные в неаполитанских темницах содержались точно так же, хотя правительство и не имело к ним личной неприязни. Но в наш век либеральные предрассудки очень сильны в Западной Европе; притом и человеколюбие внушает, что строгость напрасна там, где не нужна. Нам кажется, что Поэрио и его товарищи были бы достаточно наказаны за свой преступный образ мыслей тюремным заключением и без прибавления цепей, грубого обращения и разных лишений. Впрочем, мы не судьи в этом деле; судья в нем — неаполитанское правительство, которое лучше нас знало потребности своего положения и, вероятно, не употребляло бы этих сильных строгостей, если бы не были они действительно нужными. Очень может быть, что оно было совершенно право, когда утверждало, что некоторая суровость необходима для обуздания злоумышленников примером их предводителей и соучастников, и что эта строгость, быть может и действительно тяжело ложащаяся на некоторых лиц, спасительно действует на множество людей, предостерегая их от опрометчивых поступков. Но недаром существует пословица: «чужую беду по пальцам разведу». Гледстон, не замечавший у себя на родине надобности в подобных мерах, не захотел, когда был в Неаполе, понять грустной необходимости, возлагаемой на неаполитанское правительство обязанностью поддерживать порядок при множестве недовольных. Он имел случай в подробности исследовать положение людей, заключенных в неаполитанские тюрьмы по политическим причинам, и с чрезвычайно силою изобразил его в Европе. Эти известия ужас-

нули западно-европейских либералов, и общественное мнение заговорило так сильно, что Франция и Англия должны были, наконец, разорвать дипломатические сношения с неаполитанским правительством, когда оно не согласилось исполнить их требование об освобождении этих несчастных людей, впрочем, справедливо наказанных за свои заблуждения, которые не мог не заметить даже Монтанелли, хотя и разделяет их образ мыслей. Сам Монтанелли, например, рассказывает, что когда Фердинанд II, провозгласив конституцию, назначил министром Боццелли, одного из предводителей демократической партии, этот демократ упал к ногам короля и вскричал: «Государь! если бы я знал вас раньше, я не составлял бы заговоров», — а вот в этом-то и состояла непростительная ошибка, за которую действительно был он достоин наказания, постигнувшего его впоследствии³.

Но здоровье короля в последнее время ослабело. Сколько известно, болезнь его — ревматизм в соединении с золотушными страданиями. Эта болезнь имеет в Неаполе какой-то особенный характер: она бросается на одну из ног, делает человека хромым, потом поднимается в желудок и тогда становится смертельною. Король чувствовал себя правым, но все-таки размышления, внушаемые тяжелой болезнью, склонили его оказать милость заключенным. Конечно, он основательно думал, что было бы опасно оставить их в Неаполе, но мы видели, как расстроилось намерение удалить их в Америку.

Мы высказали наш взгляд на это дело, но беспристрастие обязывает нас и в настоящем случае, как всегда, привести мнение противной партии, понимающей дело иначе, и мы сообщаем здесь некоторые отрывки из статьи Times'a, представляя себе право показать неосновательность обвинений, взводимых ею на неаполитанское правительство.

«Мы должны ныне объявить, что Поэрио, Сеттембрини (говорит Times 9 марта) и остальные неаполитанские каторжники, которых везли в Северную Америку по приказанию умирающего, но не раскаявающегося Фердинанда, презрели его милостью и с чрезвычайным ослеплением и неблагодарностью не захотели принять прощение на условиях, им предложенных. Десять лет он считал нужным держать их в цепях, в гнуснейших тюрьмах, в подземельных подвалах, подвергая их ужасам медленной смерти; но смерть, призываемая ими, не приходила. Они были наказаны по приговору суда, веденного таким образом, что изумлялась Европа: так нагло было клятвопреступление, так возмутительны действия судей, так тверда их решимость произнести осуждение. Показания шпионов, представление подложного письма, отвергнутого впоследствии даже неаполитанским генеральным прокурором, — таковы документы по их делу. В Англии знают, что Поэрио жестоко страдал, но почти все знают о нем только по письмам Гледстона о состоянии неаполитанских тюрем, и английский народ еще не знает, какая черная измена погубила этих несчастных джентльменов, не знает, как велики права их на нашу симпатию. Они не заговорщики; они не имели никакого отношения к итальянским заговорам. Но когда Европа была раздираема волнениями, в возбуждении которых они не участвовали, то по просьбе своего короля они помогли ему установить конституционное правление в Неаполе, Торжественнейшим

образом Фердинанд призывал на себя погибель, если изменит данному слову. Но после 15 мая * он бросил на ветер все обещания. Несчастные джентльмены, которых мы теперь с гордостью называем нашими гостями, были виновны разве в том, что поверили слову Фердинанда. За это преступление, которого никто не захочет повторить, они были осуждены на десять лет страданий, каким подвергались очень немногие люди, и пережили их, чтобы рассказать свету. Чем больше мы будем исследовать их историю, тем больше мы убедимся, что эти люди терпели невообразимое мучение десять лет единственно за то, что имели безрассудство поверить Фердинанду и приняли участие в системе правления, которую он клялся сохранить. Даже дыхание клеветы никогда не касалось их чистого имени. События 1848 года произошли без всякого возбуждения от них. Фердинанд, чтобы спасти свой престол и свою жизнь, бросился писать конституцию. Он лично и убедительно просил главных между этими изгнанниками быть министрами его нового правления. Они исполнили просьбу. Через несколько времени он увидел возможность пренебречь своими обещаниями и обязательствами. Он обратил пушки на своих подданных, и на досуге было составлено пошлое, ни на чем не основанное обвинение в заговоре против государственных людей, оказавших ему пособие для сохранения ему престола в час его тяжелой беды. Жертвы его тирании и вероломства теперь между нами. Чувство, гораздо сильнее всех политических расчетов, призывает нас почтить таких людей».

Статья написана, как видим, очень сильно и даже красноречиво; но, к сожалению, мы должны сказать, что ни честность Поэрио, Сеттембрини и других, ни красноречие английского журналиста не могут вознаградить за недостаток ясного взгляда на сущность дела, — недостаток одинаково заметный и в бедных страдалцах, и в их защитнике. Они, кажется, не понимают теории неотъемлемых прав. Мы говорим, например, что негр — невольник, ступивший на английскую или русскую землю, делается свободным человеком, хотя бы владелец имел на него самые неоспоримые документы и хотя бы даже он сам добровольно продан в рабство этому господину. Так постановляют английские и русские законы, потому что выше всех документов и обязательств и обещаний ставят в этом случае неотъемлемое право человеческой личности, объявляя недействительными всякие договоры и факты, противные этому праву⁴. Англичанину извинительно, но неаполитанцу непростительно не знать, что так же безусловна теория неотъемлемых прав [престола, основывающегося на божественной милости, как это] существует в Неаполе. Обещания и действия, противные этим неотъемлемым правам, могут быть вынуждаемы обстоятельствами у человеческой слабости, но такие уступки по самому принципу теории недействительны и, если так можно выразиться, противозаконны, и по смыслу теории должны быть уничтожаемы. Когда Фердинанд восстановил свою прежнюю власть, ему не о чем было жалеть, не в чем раскаиваться, кроме разве того, как жалеть о грустном стечении обстоятельств, вынудивших уступки, и раскаиваться в

* Когда неаполитанское национальное собрание было разогнано вооруженною силою, город Неаполь бомбардирован и либеральное движение подавлено после упорной битвы.

минутном отступлении от ненарушимой теории. Поэтому выражение «нераскаивающийся» в отношении к нему совершенно неуместно. Он по совести может сказать, что прав перед Поэрио и его товарищами. Также неуместна дерзкая ирония над условиями, с которыми было соединено освобождение этих преступников: разве правитель не имеет обязанности заботиться о спокойствии своего государства? Разве он не обязан принимать мер, нужных для того? Фердинанд находил, что для внутреннего спокойствия Неаполя было бы вредно дозволить жить там Поэрио и его товарищам. Он был прав перед собою, освобождая их на таком условии, чтобы они удалились в страну, где были бы безвредны для Неаполя. Он руководился милостью, но и самая милость должна быть благоразумна. Десятилетние страдания преступников были ужасны, но что же делать? Притом, чем возмущается красноречивый защитник преступников? Тем обстоятельством, что тюрьмы не были устроены с комфортом. Но неужели он не понимает, что комфорт в тюрьме совершенно неуместен, да если б и был уместен, то почти ничем не облегчил бы страдания преступников? Тяжесть тюремного заключения состоит именно в том, что заключенный лишен свободы, и никакой комфорт не может чувствительным образом уменьшить этой тяжести, никакое отсутствие комфорта не может значительно увеличить ее. Внимание к тому, хороша или дурна была тюрьма, в которой сидел Поэрио, кажется нам такою же ничтожною щепетильностью, как внимание к тому, соблюдено ли титулование по рангу на адресе получаемого кем-нибудь письма. Вопрос в том, заслуживали ли заключения наказанные им люди, т. е. были ли они тяжкими преступниками? Да, потому что не исполнили лежавшей на них по неаполитанским законам обязанности защищать форму правления, существовавшую до революции. С этой точки зрения, мы должны сказать, что вся статья Times'a кажется нам следствием неясного понимания неаполитанских учреждений, точно так же, как образ действий, за который пострадали Поэрио и его товарищи, мы считаем ошибочным, и, полагая, что он был очень вреден для Неаполя, должны сказать, что они сами были виноваты в своих несчастиях, совершенно заслуженных. Мы грустим о тяжести этих страданий, мы высоко уважаем личные достоинства и благородство характера несчастных страдальцев, но, повторяем, они сами были виноваты в том, чему подверглись.